



Анатолий Рыбаков

Дети Арбата.
Книга 1. Дети Арбата

ФТМ



Дети Арбата

Анатолий Рыбаков

Дети Арбата

«ФТМ»

1966-1983

Рыбаков А. Н.

Дети Арбата / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1966-1983 — (Дети Арбата)

Время действия романа А.Рыбакова «Дети Арбата» – 1934 год. Автор вводит читателей то в кремлевские кабинеты, то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские аудитории или тюремную камеру; знакомит с жизнью и бытом сибирской деревни. Герои романа – простые юноши и девушки с московского Арбата и люди высшего эшелона власти – Сталин и его окружение, рабочие и руководители научных учреждений и крупных строек. Об их духовном мире, характерах и жизненной позиции, о времени, оказавшем громадное влияние на человеческие судьбы, рассказывает этот роман.

© Рыбаков А. Н., 1966-1983

© ФТМ, 1966-1983

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	13
3	19
4	27
5	34
6	38
7	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Анатолий Рыбаков

Дети Арбата

Часть первая

1

Самый большой дом на Арбате – между Никольским и Денежным переулками, теперь они называются Плотников переулок и улица Веснина. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, фасад первого выложен белой глазурованной плиткой. Висят таблички: «Ажурная строчка», «Отучение от заикания», «Венерические и мочеполовые болезни»... Низкие арочные проезды, обитые по углам листовым железом, соединяют два глубоких темных двора.

Саша Панкратов вышел из дома и повернул налево – к Смоленской площади. У кино «Арбатский Арс» уже прохаживались парами девочки, арбатские девочки и дорогомилловские, и девочки с Плющихи, воротники пальто небрежно приподняты, покрашены губы, загнуты ресницы, глаза выжидающие, на шее цветная косынка – осенний арбатский шик. Кончился сеанс, зрителей выпускали через двор, толпа выдавливалась на улицу через узкие ворота, где весело толкалась стайка подростков – извечные владельцы этих мест.

Арбат кончал свой день. По мостовой, заасфальтированной в проезжей части, но еще булыжной между трамвайными путями, катили, обгоняя старые пролетки, первые советские автомобили «ГАЗ» и «АМО». Трамваи выходили из парка с одним, а то и двумя прицепными вагонами – безнадежная попытка удовлетворить транспортные нужды великого города. А под землей уже прокладывали первую очередь метро, и на Смоленской площади над шахтой торчала деревянная вышка.

Катя ждала Сашу на Девичьем поле, у клуба завода «Каучук», скуластая сероглазая степная девчонка в свитере из толстой деревенской шерсти. От нее пахло вином.

- Выпили с девчатами красного. А тебе праздника нет?
- Какой праздник?
- Какой... Покров.
- А...
- Вот тебе и «а»...
- Куда пойдём?
- Куда... К подруге.
- Что взять?
- Закуска там есть. Купи водки.

По Большому Саввинскому переулку, мимо старых рабочих казарм, откуда слышались пьяные голоса, нестройное пение, звуки гармоники и патефона, потом по узкому проходу между деревянными фабричными заборами они спустились на набережную. Слева – широкие окна фабрик Свердлова и Ливерса, справа – Москва-река, впереди – стены Новодевичьего монастыря и металлические переплеты моста Окружной железной дороги, за ними болота и луга, Кочки и Лужники.

- Ты куда меня ведешь? – спросил Саша.
 - Куда-куда... Иди, нищему деревня не крюк.
- Он обнял ее за плечи, она попыталась сбросить его руку.
- Потерпишь.

Саша крепче сжал ее плечо.

– Не бунтуй.

Четырехэтажный неоштукатуренный дом стоял на отшибе. Они прошли по длинному коридору, слабо освещенному, с бесчисленными дверьми по сторонам. Перед последней дверью Катя сказала:

– У Маруси друг... Ты ничего не спрашивай.

На диване, лицом к стене, спал мужчина, у окна сидели мальчик и девочка лет по десяти-одиннадцати, они оглянулись на дверь, поздоровались с Катей. У кухонного столика в углу комнаты, рядом с рукомойником, возилась маленькая женщина, много старше Кати, с милым добрым лицом. Это и была Маруся.

– А мы заждались, думали, не придете, – сказала она, вытирая руки и снимая фартук, – думали, загуляли где... Вставайте, Василий Петрович, гости пришли.

Мужчина поднялся, худой, хмурый, пригладил редкие волосы, провел ладонью по лицу, сгоняя сон. Воротничок его рубашки примялся, узел галстука был опущен.

– Пироги засохли. – Маруся сняла полотенце с лежавших на столе пирогов из ржаной муки. – Этот с соей, этот с картошкой, а тот с капустой. Тома, подай тарелки.

Девочка поставила на стол тарелки. Катя сняла жакет, достала из буфета ножи и вилки, сразу стала накрывать на стол, знала, где что лежит, видно, бывала тут не раз.

– В комнате убери! – приказала она Марусе.

– Заспались после обеда, – оправдывалась та, снимая со стульев одежду, – и ребята бумагу нарежали, подбери бумагу, Витя.

Ползая по полу, мальчик собрал обрезки бумаги.

Василий Петрович умылся под умывальником, подтянул галстук. Маруся отрезала ребятам по куску от каждого пирога и поставила на окно.

– Ешьте!

Василий Петрович разлил водку.

– С праздником!

– Под столом встретимся! – Катя посмотрела на всех, кроме Сашу. Она в первый раз привела его к своим знакомым, пила здесь водку, а с ним пила только красное вино.

– Какого черноглазого себе отхватила! – весело проговорила Маруся, кивая на Сашу.

– Черноглазого и кудрявого, – усмехнулась Катя.

– В молодости волосы выются, в старости секутся, – объявил Василий Петрович и снова взялся за бутылку. Теперь он не казался Саше хмурым, в его разговорчивости было желание поддержать знакомство. И Маруся глядела на них ласково, понимающе.

Саше было приятно Марусино покровительство, нравился этот дом на окраине, песня и гармошка за стеной.

– Что же вы не едите? – спросила Маруся.

– Ем, спасибо, вкусные пироги.

– Было бы из чего, не такие бы испекла – дрожжей и тех не достанешь. Спасибо, Василий Петрович принес.

Василий Петрович сказал что-то серьезное по поводу дрожжей.

Ребята попросили еще пирога.

Маруся снова отрезала им по куску.

– Думаете, для вас одних наготовлено?! Кончилась ваша гулянка, умывайтесь!

Она собрала их постели и понесла из комнаты, к соседке.

Дети ушли спать. Потом собрался и Василий Петрович. Маруся пошла его провожать. Уходя, сказала Кате:

– Чистую простыню в шкафу возьми.

– Зачем он ей нужен? – спросил Саша, когда за Марусей закрылась дверь.

– Муж бегаёт от алиментов, ищи его, жить-то надо.

– При детях?

– Голодными лучше сидеть?

– Старый он.

– И она не молодая.

– Что же не женится?

Она исподлобья посмотрела на него:

– А ты на мне чего не женишься?

– Тебе замуж хочется?

– Хочется... Ладно! Давай спать ложиться.

И это было необычно. Каждый раз ему приходилось добиваться ее так, будто они встречаются впервые, а сегодня сама стелет постель, раздевается. Только сказала:

– Свет потуши.

Потом перебирала пальцами его волосы...

– Сильный ты, любят тебя, наверно, девки, только неосторожный, – она наклонилась над ним, заглянула в глаза, – рожу тебе черноглазенького, не боишься?

Рано или поздно это должно было случиться. Ну что ж, сделает аборт, ребенок не нужен ни ему, ни ей.

– Ты беременна?

Она уткнулась головой в его плечо, прижалась к нему, будто искала защиты от несчастий и невзгод своей жизни.

Что он знает о ней? Где она живет? У тетки? В общежитии? Снимает угол? Аборт! Что скажет она дома, какой бюллетень предъявит на работе? А вдруг пропустила сроки? Куда денется с ребенком?

– Если попалась, рожай, поженимся.

Не поднимая головы, она спросила:

– А как малого назовем?

– Решим, времени много.

Она опять засмеялась, отодвинулась от него.

– Не женишься ты, да и не пойду я за тебя. Тебе сколько? Двадцать два? Я и то старше тебя. Ты образованный, а я? Шесть классов... Выйду, только не за тебя.

– За кого же? Интересно.

– Интересно... Парень один, наш, деревенский.

– Где он?

– Где-где... На Урале, приедет и заберет меня.

– Кто он?

– Кто... Механик.

– Ты давно его знаешь?

– Сказала ведь, с одной деревни.

– Что же он до сих пор на тебе не женился?

– Не перебесился, вот и не женился.

– А теперь перебесился?

– Теперь ему уже тридцать. У него, знаешь, какие барыньки были...

– Ты его любишь?

– Ну, люблю...

– А почему со мной встречаешься?

– Почему да почему... Мне тоже жить хочется. Допрашивает, как в милиции, ну тебя!

– Когда же он приезжает?

– Завтра.

- И мы с тобой больше не увидимся?
- На свадьбу позвать?.. Он здоровый, стукнет, и нет тебя.
- Это еще посмотрим.
- Ох, ох...
- Но ведь ты беременна.
- Кто сказал?
- Ты сказала.

– Ничего я тебе не говорила. Сам придумал.

В дверь тихонько постучали. Катя открыла Марусе, снова легла.

– Проводила. – Маруся зажгла свет. – Чай пить будете?

Саша потянулся за брюками.

– Чего вы? – сказала Маруся. – Не беспокойтесь.

– Он стеснительный, – усмехнулась Катя, – стесняется гулять со мной, жениться хочет.

– Жениться недолго, – сказала Маруся, – и развестись недолго.

Саша налил в стакан остатки водки, закусил пирогом. В общем-то он должен быть благодарен Кате за то, что все так благополучно кончилось. Механик этот, наверно, и вправду есть, но не в нем, в сущности, дело. Дело в том, что она опять дразнит его, а он раскис, дурачок. Саша поднялся.

– Ты куда? – спросила Катя.

– Домой.

– Что вы, честное слово, – забеспокоилась Маруся, – спите, утром поедете, а я у соседей переночую, никому не мешаете.

– Надо идти.

Катя смотрела хмуро.

– Дорогу найдешь?

– Не заблужусь.

Она притянула его к себе.

– Останься.

– Пойду. Счастливо тебе.

Хорошая все-таки девчонка! Жаль, конечно. И если она не позвонит, они никогда больше не увидятся: адреса он не знает, не дает она адреса – «Тетка заругает», даже не говорит, на какой фабрике работает – «Будешь возле проходной отсвечивать».

Раньше она изредка звонила ему из автомата, они шли в кино или в парк, потом уходили в глубину Нескучного сада. Белели под луной парусиновые шезлонги, Катя отворачивалась. «Чего придумал... Вот пристал тоже...» А потом прикинула к нему, губы сухие, обветренные, перебирала шершавыми руками его волосы.

– Я тебя первый раз за цыгана приняла. Возле нашей деревни цыгане стояли, такие же черные. Только кожа у тебя гладкая.

Летом, когда мама была у сестры на даче, она приходила к нему, глаза сердитые, стеснялась сидевших у подъезда женщин. «Пялят зенки. Больше в жизни не приду».

Позвонив, обычно молчала, потом вешала трубку, звонила опять...

– Катя, ты?

– Ну я...

– Что же не отвечала?

– И не звонила даже...

– Встретимся?

– Где это мы встретимся?..

– Возле парка?

– Придумал... На Девичку приезжай.

– В шесть, в семь?

– Побегу я в шесть...

Все это Саша вспоминал теперь, ждал ее звонка. На следующий день он хотел побыстрее вернуться из института домой – вдруг позвонит. Но остался делать стенную газету к Октябрьским праздникам. А потом его вызвали на заседание партбюро.

Свободных мест у двери не было. Саша протиснулся между сдвинутыми рядами стульев, задевая тесно сидящих людей, вызвав недовольный взгляд Баулина, секретаря партбюро, русоволосого крепыща с округлым, простым, упрямым лицом, с широкой грудью, выпирающей под синей сатиновой косовороткой, застегнутой на короткой шее двумя белыми пуговичками. Проследив, как Саша уселся в углу, Баулин снова повернулся к Криворучко:

– Это вы, Криворучко, сорвали строительство общежитий. Объективные причины никого не интересуют! Фонды переброшены на ударные стройки? Вы отвечаете не за Магнитку, а за институт. Почему не предупредили, что сроки нереальны? Ах, сроки реальны... Почему не выполнены? Вы двадцать лет в партии?.. За прошлые заслуги в ножки поклонимся, а за ошибки будем бить.

Баулинский тон удивил Сашу. Заместителя директора Криворучко студенты побаивались. В институте поговаривали о его знаменитой военной биографии: до сих пор носит гимнастерку, галифе и сапоги. Этот сутулый человек с длинным унылым носом, с мешками под глазами никогда ни с кем не вступал в разговоры, даже на приветствия обычно отвечал только кивком головы.

Криворучко опирался рукой на спинку стула, Саша видел, как дрожат у него пальцы. Слабость в человеке, всегда таком грозном, выглядела жалкой. Но материалов для стройки действительно не давали. А сейчас никто не хочет об этом думать. Только Янсон, декан Шашиного факультета, невозмутимый латыш, обращаясь к директору института Глинской, примирительно сказал:

– Может быть, дать еще срок?

– Какой?! – со зловещим добродушием спросил Баулин.

Глинская молчала. Сидела с обиженным видом человека, которого наградили таким негодным заместителем. Поднялся аспирант Лозгачев, высокий, вальняжный, театрально воздел руки.

– Неужели и лопаты отправили на Магнитку? Студенты пальцами ковыряли мерзлую землю? Вот сидит комсорг группы, пусть скажет, как они без лопат работали.

Баулин с любопытством посмотрел на Сашу. Саша встал.

– Мы без лопат не работали. Как-то раз кладовая оказалась закрытой. Потом вернулся кладовщик и выдал лопаты.

– Вы долго ждали? – не поднимая головы, спросил Криворучко.

– Минут десять.

Лозгачев, неудачно призвавший Сашу в свидетели, укоризненно покачал головой, как будто оплошность совершил не он, а Саша.

– Все обошлось? – усмехнулся Баулин.

– Обошлось, – ответил Саша.

– А сколько времени вы работали, сколько стояли?

– Материалов-то ведь не было.

– Откуда ты знаешь об этом?

– Это все знают.

– Напрасно адвокатствуешь, Панкратов, – сурово проговорил Баулин, – неуместно!

Стараясь не глядеть на Криворучко, члены бюро проголосовали за исключение его из партии. Воздержался один Янсон.

Еще больше ссутулившись, Криворучко вышел из комнаты.

– Поступило заявление доцента Азизяна, – объявил Баулин и посмотрел на Сашу, как бы спрашивая: что ты теперь скажешь, Панкратов?!

Азизян читал в Сашиной группе основы социалистического учета. Однако говорил не об учете, даже не об основах, а о тех, кто эти основы извращает. Саша сказал впрямую, что не мешало бы дать им представление о бухгалтерии как таковой. Азизян, курчавенький, лукавый пройдоха, посмеялся тогда. А теперь обвинял Сашу в том, что тот выступил против марксистского обоснования науки об учете.

– Было? – Баулин смотрел на Сашу холодными голубыми глазами.

– Я не говорил, что теории не надо. Я сказал, что знаний по бухгалтерии мы не получили.

– Партийность науки тебя не интересует?

– Интересует. Конкретные знания тоже.

– Между партийностью и конкретностью есть разница?

Опять поднялся Лозгачев:

– Ну, товарищи... Когда открыто проповедуют аполитичность науки... И потом: Панкратов пытался навязать партийному бюро свое особое мнение о Криворучко, разыгрывал представителя широких студенческих масс. А кого вы, Панкратов, здесь представляете, собственно говоря?

Янсон сидел мрачный, барабанил толстыми пальцами по туго набитому портфелю.

– Не надо накручивать, товарищи!

Глинская повернулась к Баулину:

– Может, передадим в комсомольскую организацию...

В ее голосе звучала сановная усталость: мелок вопрос, незначительна фигура студента. Лозгачев взглянул на Баулина, ему казалось, что тот должен быть недоволен предложением Глинской:

– Партийное бюро не должно уклоняться...

Это неосторожное слово все решило.

– Никто не уклоняется, – нахмурился Баулин, – но есть порядок. Пусть комсомол обсудит. Посмотрим, какова его политическая зрелость.

На вешалке висело коричневое кожаное пальто... Дядя Марк!

– Погуливаешь?..

Саша поцеловал Марка в гладко выбритую щеку. Пахло от Марка хорошим трубочным табаком, мягким одеколоном, «уютный холостяцкий дух», как говорила мама. Марк выглядел старше своих тридцати пяти лет – полный, веселый, лысеющий дядька. И только острые глаза за желтоватыми стеклами очков выдавали железную волю этого человека, одного из командармов промышленности, почти легендарного, как легендарна его гигантская стройка на Востоке – новая металлургическая база Советского Союза, недоступная авиации врага, стратегический тыл пролетарской державы.

– Думал, не дождусь тебя, заночевал, думаю...

– Саша всегда ночует дома, – сказала мама.

На столе портвейн, розовая любительская колбаса, шпроты, «турецкие хлебцы» – лакомства, которые всегда привозил Марк. Тут же и традиционный мамин пирог, который она пекла в «чуде». Видно, Марк успел предупредить о своем приходе.

– Надолго приехал? – спросил Саша.

– Сегодня приехал, завтра уезжаю.

– Его Сталин вызвал, – сказала мама.

Она гордилась братом, гордилась сыном, больше ей нечем было гордиться – одинокая женщина, брошенная мужем, маленькая, полная, с еще красивым лицом и густыми вьющимися седыми волосами.

Марк протянул руку к лежащему на диване свертку:

– Разверни.

Софья Александровна попыталась распутать узел.

– Дай-ка!

Саша ножом разрезал шпагат. Сестре Марк привез отрез на пальто и пуховый платок. Саше – костюм из темно-синего бостона. Немного примятый пиджак сидел отлично.

– Как влитой, – одобрила Софья Александровна, – спасибо, Марк, ему совсем не в чем ходить.

Саша с удовольствием разглядывал себя в зеркале. Марк всегда дарит именно то, что надо. В детстве он повел его к сапожнику, и тот сшил Саше высокие хромовые сапоги, таких ни у кого не было, ни во дворе, ни в школе, тогда он очень гордился сапогами и до сих пор помнил их запах, помнил и острый запах кожи и дегтя в каморке сапожника.

Несколько раз в этот вечер Марка вызывали к телефону. Низким, властным голосом он отдавал приказания о фондах, лимитах, эшелонах, предупредил, что заночует на Арбате, и велел прислать машину к восьми утра. Вернувшись в комнату, Марк покосился на бутылку.

– Ого!

– Пей, товарищ, покуда пьется, горе жизни заливай, – запел Саша любимую песню Марка. От него и услышал ее давно, мальчишкой еще.

– Тише, о тише, все заботы прочь в эту ночь, – подтянул Марк, – так?

– Именно! – Саша запел снова:

Завтра, может, в эту пору
Здесь появится Чека,
И, быть может, в ту же пору
Расстреляем Колчака...

Голос и слух он унаследовал от матери, когда-то ее приглашали петь на радио, но отец не пустил.

Завтра, может, в эту пору
К нам товарищи придут,
А быть может, в ту же пору
На расстрел нас поведут.

– Хорошая песня, – сказал Марк.

– Только поете вы ее плохо, – заметила Софья Александровна, – как хор слепцов.

– Дуэт слепцов, – рассмеялся Марк.

Ему постелили на диване, Саша лег на парусиновой дачке.

Марк снял пиджак, подтяжки, сорочку и, оставшись в нижней рубашке, обшитой по вороту и на рукавах узорной голубой тесьмой, отправился в ванную.

Ожидая его, Саша лежал, закинув руки за голову...

После заседания, сбегая по лестнице, Янсон похлопал его по плечу. Этот единственный добрый и ободряющий жест только подчеркнул пустоту, которую ощутил Саша. Другие делали вид, что торопятся, кто домой, кто в столовую. По дороге к трамвайной остановке, на грязной мостовой развороченного пригорода, его обогнала черная легковая машина. Глинская сидела впереди, повернув голову, что-то говорила сидевшим сзади. И то, как они разговаривали и промчались мимо, не заметив и не думая о нем, опять вызвало ощущение пустоты, несправедливой отверженности.

Глинскую Саша знал еще по школе, видел на заседаниях родительского комитета, ее сын Ян учился с ним в одном классе – мрачный, неразговорчивый малый, интересовавшийся только альпинизмом. Она была женой работника Коминтерна, польский акцент придавал ее категоричным высказываниям оттенок неестественности. И все же казалось, что Глинская не смолчит на бюро, за общежития она отвечает не меньше Криворучко. А она промолчала.

Вернулся Марк, умытый, свежий, вынул из саквояжа одеколон, протерся, лег на диван, поворочался, устраиваясь поудобнее, снял очки и близоруко искал, куда их положить.

Некоторое время они лежали молча, потом Саша спросил:

– Зачем тебя Сталин вызывал?

– Меня вызывал не Сталин, а вызвали, чтобы передать его указание.

– Говорят, он небольшого роста.

– Как и мы с тобой.

– А на трибуне кажется высоким.

– Да.

– Когда было его пятидесятилетие, – сказал Саша, – мне не понравился его ответ на приветствия, что-то вроде того, что «партия меня родила по образу своему и подобию»...

– Смысл тот, что поздравления относятся к партии, а не к нему лично.

– Правда, Ленин писал, что Сталин груб и нелоялен?

– Откуда ты знаешь?

– Какая разница... Знаю. Писал ведь?!

– Это качества сугубо личные, – сказал Марк, – они не главное. Главное – политическая линия.

– Разве это можно разделить? – возразил Саша, вспомнив в эту минуту Баулина и Лозгачева.

– Ты в этом сомневаешься?

– Как-то не думал. Я ведь тоже за Сталина. Но хотелось бы поменьше славословий – режут ухо.

– Непонятное еще не есть неправильное, – ответил Марк, – верь в партию, в ее мудрость.

Начинается строгое время.

Саша усмехнулся:

– Сегодня на своей шкуре испытал.

Он рассказал про заседание партбюро.

– Бухгалтерия?! Тот ли это принципиальный вопрос, по которому...

– Ну, знаешь! Принципиального вопроса можно ждать всю жизнь...

– Пререкаться в аудитории бестактно.

– Меня обвиняют не в бестактности, а в аполитичности. И требуют, чтобы я это признал, понимаешь?

– Если ошибся, можно и признать.

– Ну уж этого они не дождутся. В чем признаваться? Lipa!

– У вас директор по-прежнему Глинская?

– Да.

– Она была на бюро?

– Была.

2

Марк Александрович велел шоферу ехать вперед, а сам пошел пешком.

Прозрачное осеннее утро, ровный бодрящий холодок. Торопились на работу служащие, шумная очередь женщин стояла у булочной, молчаливая очередь мужчин у табачного ларька.

Марк Александрович всегда выделял Соню среди других своих сестер, любил и жалел ее, особенно беспомощную сейчас, когда от нее ушел муж. И Сашу любил. За что придрались к мальчику? Ведь он честно сказал, а ему ломают душу, требуют раскаяния в том, чего не совершал. И он тоже уговаривал Сашу покаяться.

Марк Александрович пересек Арбатскую площадь и пошел по Воздвиженке, неожиданно тихой и пустой после оживленного Арбата. Только большая толпа ожидала открытия магазина Военторга и другая, поменьше, жалась возле приемной Калинина. Марк Александрович сел в поджидавшую его машину и поехал на площадь Ногина, где в бывшем Деловом дворе в громадном сером пятиэтажном здании с длинными коридорами и бесчисленными комнатами помещался Народный комиссариат тяжелой промышленности.

Тысячи людей прибывали в этот дом со всех концов страны, здесь все решалось, планировалось, утверждалось. Как всегда, обход Наркомата Марк Александрович начал не с начальников главков, а с отделов и секторов. И то, что Рязанов, руководитель величайшего в мире строительства, любимец Орджоникидзе, пришел прежде всего к рядовым работникам, было этим работникам приятно: считается с ними, понимает их силу, силу аппарата. И они с охотой занимались его делами, решали их так, как того требовали интересы завода – красы и гордости пятилетки, то есть так, как того хотел Марк Александрович.

Обойдя отделы, он поднялся на второй этаж, прошел несколькими коридорами, опять поднялся по лестнице, спустился по другой и очутился в тихом, малолюдном крыле здания, где находились кабинеты наркома и его заместителей. В приемной, устланной коврами, за столами с телефонами сидели секретарши. Они знали Рязанова, и он без доклада вошел к Будягину.

Будягина, члена ЦК партии, знакомого Сталину еще по ссылке, несколько месяцев назад отозвали из-за границы. Бывшего посла в крупнейшей европейской державе назначили заместителем наркома. Говорили, что отзыв его с дипломатической работы не случаен, Будягиним недовольны. Но на сухощавом черноусом лице Будягина, в его серых глазах под густыми бровями ничего нельзя было прочесть. Эти рабочие интеллигенты, сменившие шинель военного комиссара на посольский фрак, кожанку председателя Губчека на костюм директора треста, всегда олицетворяли для Марка Александровича грозный дух Революции, всесокрушающую силу Диктатуры.

Разговор шел о четвертой домне. Домна должна быть задута к Семнадцатому съезду партии, через пять месяцев, а не через восемь, как предусматривалось планом. То, что хозяйственная целесообразность приносится в жертву политической необходимости, понимали и Марк Александрович, и Будягин. Но такова воля Сталина.

Когда все обговорили, Марк Александрович спросил:

– Вы знаете Сашу Панкратова, моего племянника, он учился с вашей дочкой в одной школе?

– Знаю. – Лицо Будягина опять стало непроницаемым.

– Глупая история...

Марк Александрович изложил Будягину суть дела.

– Саша – честный парень, – сказал Будягин.

– Аполитичность бухгалтерии – представляете! Директор у них Глинская, я с ней не знаком, вы ее знаете. Поговорите, если вам не трудно. Жаль парня, затравят. Я могу обратиться к Черняку, но не хотелось бы доводить до райкома.

– Черняк уже не секретарь, – сказал Будягин.

– Как?

– Так.

– До чего же мы дойдем?

Будягин пожал плечами:

– Съезд в январе... – И безо всякой паузы продолжал: – Славный парень Сашка, он бывает у нас. Странно, ничего мне не говорил.

– Он не из тех, кто просит помощи.

– Глинская способна что-то сделать? – усомнился Будягин.

– Не знаю. Но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить.

– Такое происходит сейчас не только с твоим племянником, – сказал Будягин.

Марк Александрович спустился в парикмахерскую, постригся и, чего никогда не делал здесь, побрился. И пожалел: парикмахер обрызгал его одеколоном, острый запах ему не понравился. С этим неприятным ощущением чужого, назойливо парфюмерного запаха он прошел в столовую для членов коллегии.

Буфетчица обернулась к нему:

– Товарищ Рязанов, вас просили зайти к товарищу Семушкину.

Он поднялся наверх. Анатолий Семушкин, секретарь Орджоникидзе, сухо с ним поздоровался, выражая недовольство тем, что в нужную минуту Марка Александровича не оказалось под рукой. Семушкин всем говорил «ты», никого не признавал, кроме Серго, и его побаивались не меньше, чем самого Серго. В гражданскую войну он был его адъютантом, с двадцать первого года – секретарем и в Закавказье, и в ЦКК-РКИ, и здесь, в Наркомтяжпроме.

С неподражаемо значительным и по-прежнему недовольным выражением лица Семушкин набрал номер...

– Товарищ Рязанов у телефона...

И передал трубку Марку Александровичу.

...В четыре часа его ждут в Кремле...

Марк Александрович догадывался, что за этим его и вызвали.

Но обратный билет ему уже вручили, и он решил, что встреча отменилась. А сейчас через сорок минут он будет у Сталина.

По другому аппарату Семушкин соединился с Бобринским химкомбинатом, там ответили, что Григорий Константинович уехал на площадку. Но Семушкин продолжал звонить, задерживал Марка Александровича, полагая, что лучше опоздать к Сталину, чем идти к нему, не получив указаний Орджоникидзе. Но Марк Александрович так не считал. Семушкин только вращался на высшем уровне, он же на этом уровне действовал. И секретарское рвение Семушкина не должно ему мешать.

Он был спокоен и невозмутим. Ему мешал только чужой, парикмахерский, запах. Нелепо явиться в Кремль к Сталину таким свеженьким. Он снова зашел в парикмахерскую, вымыл лицо и голову. Парикмахер, оставив сидевшего в кресле клиента, стоял перед ним с полотенцем в руках. Того благодушного Марка Александровича, который полчаса назад шутил с ним насчет лысеющих мужчин, уже не существовало. Властное лицо, особенно теперь, когда он снял очки, казалось беспощадным.

В Троицких воротах Марк Александрович протянул в окошко партийный билет. Окошко захлопнулось, потом снова открылось, за стеклом мелькнул силуэт военного, он наклонился, и только тогда Марк Александрович его разглядел.

– У вас есть оружие?

– Нет.

– Что в портфеле?

Марк Александрович поднял портфель, открыл.

Дежурный вернул ему партбилет с вложенным в него пропуском.

В дверях спецподъезда стояли два бойца с винтовками. Рассмотрев фотокарточку на партбилете, караульный скользнул по его лицу внимательно-казенным взглядом. Марк Александрович разделся в небольшом гардеробе и поднялся на третий этаж. У дверей кабинета человек в штатском опять проверил его документы.

В большой рабочей комнате сидел за столом Поскребышев. Марк Александрович увидел его впервые и подумал, какое у него грубое, неприятное лицо. Рязанов назвал себя.

Поскребышев провел его в следующую комнату-приемную, показал на диван, а сам вошел в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Потом вернулся.

– Товарищ Сталин ожидает вас.

Просторный кабинет Сталина был вытянут в длину. Слева висела на стене огромная карта СССР. Справа, между окнами, размещались шкафы с книгами, в ближнем углу стоял на подставке большой глобус, в дальнем углу – письменный стол, за ним кресло. Посредине комнаты – длинный стол под зеленым сукном и стулья.

Сталин прохаживался по кабинету и остановился, когда открылась дверь. На нем был френч из защитного, почти коричневого материала и такие же брюки, заправленные в сапоги. Он казался ниже среднего роста, плотный, рябоватый, со слегка монгольскими глазами. В густых волосах над низким лбом пробивалась седина. Сталин сделал несколько легких, пружинистых шагов навстречу Марку Александровичу и протянул ему руку – просто, корректно, но и сознавая значение этого рукопожатия. Потом отодвинул от стола два стула. Они сели. Марк Александрович совсем близко увидел глаза Сталина – светло-карие, живые, они показались ему даже веселыми.

Марк Александрович начал доклад с общего описания строительства. Сталин сразу перебил его:

– Товарищ Рязанов, не теряйте времени. Центральный Комитет и его секретарь знают, где строительство и для чего строительство.

Он говорил с сильным грузинским акцентом. И как убедился Марк Александрович, был хорошо осведомлен о ходе дела.

– Комсомольцы бегут?

– Да.

– Значит, мобилизовали, чтобы бежали! Сколько убежало?

– Восемьдесят два человека.

Взгляд Сталина был пронзительным, испытующим...

– Покажите справку!

Марк Александрович вынул из портфеля таблицу движения рабочей силы, показал нужную графу.

– Что же вы на себя клеветеете, товарищ Рязанов?! Если бы с какого-нибудь завода убежали всего восемьдесят два человека, то директор завода чувствовал бы себя героем.

Он улыбнулся. Вокруг глаз резко обозначилась сетка морщин.

Марк Александрович пожаловался на завод, поставляющий оборудование. Сталин спросил, кто директор этого завода. Услышав фамилию, сказал:

– Неумный человек, все провалит.

Глаза его вдруг стали желтоватыми, тяжелыми, тигриными, в них мелькнула злоба к человеку, которого Марк Александрович знал как хорошего работника, попавшего в трудные условия.

Рязанов перешел к самому щекотливому вопросу – строительству второго мартиновского цеха.

- За год постройте?
- Нет, товарищ Сталин.
- Почему?
- Я не технический авантюрист.

И тут же испугался того, что сказал. Сталин пристально смотрел на него. Опять глаза его сделались желтыми, тяжелыми, одна бровь стояла почти вертикально. Медленно, растягивая слова, он произнес:

- Значит, ЦК – технические авантюристы?
- Я не так выразился, извините. Я имел в виду следующее...

Марк Александрович подробно и убедительно доложил, почему вторую очередь мартиновского цеха нельзя закончить в будущем году. Сталин внимательно слушал, прижимая к груди левую руку с зажатой в кулаке трубкой, казалось, что рука плохо разгибается.

– Вы честно сказали. Нам не нужны коммунисты, которые обещают все, что угодно. Нам нужны те, кто говорит правду.

Сталин сказал это без улыбки, очень значительно, эти слова предназначались всей стране. Марк Александрович хотел продолжить доклад, но Сталин тронул его локоть:

- Я вас слушал, теперь вы меня послушайте.

Он заговорил о металлургии, о Востоке, о второй пятилетке, об обороне страны. Говорил медленно, четко, тихо, глуховатым голосом, отчетливо, будто диктовал машинистке, говорил вещи, всем известные, но сейчас, произносимые им, они казались новыми и особенно весомыми. Но о четвертой домне не упомянул, как бы не желая вызывать Рязанова на возражения, которые бы не принял и которые только бы повредили Рязанову.

- Вы когда уезжаете? – спросил Сталин, вставая.
- Сегодня. – Марк Александрович тоже встал.
- Отложите, если возможно, дня на два. Я думаю, товарищам будет интересно послушать вас на Политбюро.

Ощущение неудобства и тревоги, которые испытал Марк Александрович в разговоре со Сталиным, отступило, осталось только чувство того великого, к чему он прикоснулся. Беспрецедентное строительство, которое он вел, требовало железной воли. Не будь над ним железной воли Сталина, он не сумел бы проявить и свою. Эта воля была жесткой. Что делать?! Не милосердием совершаются исторические повороты.

В наркомате знали о разговоре Марка Александровича со Сталиным, и те, кому положено, уже готовили проект решения Политбюро. На вечер и на ночь остались все, кто мог понадобиться: сотрудники главка, машинистки, дежурная буфетчица. Члены коллегии, чья виза требуется на проекте решения, явятся в наркомат по первому звонку, и утром документы с нарочным будут доставлены в ЦК.

Никто не спрашивал Марка Александровича, что говорил Сталин. Пересказ может что-нибудь исказить. Сталин сам говорит народу то, что считает нужным. Марк Александрович называл сроки, объекты – это и было волей Сталина.

Главное то, что срок окончания строительства второго мартиновского цеха отложен на год. Это предвещало новый, реалистический, подход к составлению второго пятилетнего плана: металл – основа всего.

Будягин тоже занимался проектом решения, потом уехал, вернулся в восемь утра и молча завизировал его.

Дружба с Марком Александровичем давала Будягину право спросить о разговоре. Будягин не спросил. Марк Александрович угадывал в нем оппозицию к Сталину. Но не допускал мысли, что это оппозиция политическая. Скорее что-то личное, как бывает между бывшими

друзьями, когда дружба кончилась. Может, обида, что отозвали из заграницы и назначили на должность хотя и высокую, но второстепенную, которая, возможно, станет ступенью к должности еще меньшей.

Приехал Орджоникидзе. Вот с кем Марк Александрович чувствовал себя легко. Орджоникидзе мог вспылить, гнев его казался страшным, но всем была известна его отходчивость и человечность. Ему Марк Александрович был обязан своим возвышением, его, директора небольшого южного завода, Серго выдвинул на нынешний высокий пост, сделал первым металлургом страны. Серго умел находить людей, защищал их, давал возможность работать.

Он сидел за громадным письменным столом, усталый человек с мясистым орлиным носом на отечном лице, с поседевшей шевелюрой, густыми, неровно свисающими усами. Верхняя пуговица кителя расстегнута, виднелась сиреневая рубашка, ее воротничок мягко облегал толстую шею. Окна кабинета выходили в узкий переулок, на маленькую старинную церквушку, каких много в старом московском посаде, ограниченном Яузой, Солянкой и Москвой-рекой, и была она, наверно, чем-то примечательна, если оставили ее тут стоять, не стерли с лица земли.

– Молодец!

Похвала относилась и к проекту решения Политбюро, и к тому, что Марк Александрович не растерялся перед Сталиным, понравился ему. Похвала относилась и к самому себе – подобрал хорошего человека и вообще умеет подбирать людей, на которых может положиться в сложных и ответственных ситуациях.

– Рассказывай!

Марк Александрович передал разговор. Орджоникидзе слушал его напряженно, точно пытаясь проникнуть в истинный смысл каждого сталинского слова.

Чем дальше отдалялась встреча Марка Александровича со Сталиным, тем величественнее она ему казалась. Такие встречи бывают раз в жизни. Главным было радостное чувство понимания великого человека, осенившего время своим гением.

– Я не технический авантюрист... Так и сказал? – смеясь, переспросил Орджоникидзе.

– Так и сказал.

– Значит, ЦК – технические авантюристы? – снова со смехом переспросил Орджоникидзе.

– Так и спросил.

Орджоникидзе многозначительно посмотрел на него своими большими, карими, навыкате глазами.

– В ЦК приедешь к десяти. Доклад пять минут, больше не дадут, учти. Не агитируй за Советскую власть, говори конкретно, что тебе нужно. На вопросы отвечай, реплики – проходи мимо. Не волнуйся, за твоей спиной я!

В комнате докладчиков стоял накрытый стол с большим кипящим самоваром, нарезанными лимонами, бутербродами, минеральной водой. Буфетчика и официантов не было. Вдоль стен у окон помещались рабочие столики – за ними можно готовить материал.

Вызова ожидали секретари обкомов, наркомы, их заместители и начальники главков, несколько военных, большая группа кавказцев.

Пожилая женщина-секретарь объявляла: «Товарищ такой-то... Пожалуйста, на заседание».

Если вызывались несколько человек, она говорила: «Товарищи из такой-то области» или «Товарищи из такого-то наркомата»...

Марка Александровича вызвали по фамилии.

Через комнату, где работали секретари, он прошел в зал заседаний, увидел ряды кресел и людей в креслах. За столом президиума стоял Молотов. Справа от него возвышалась кафедра, слева и чуть позади сидел референт и еще левее стенографистки.

– Товарищ докладчик, пожалуйста, сюда!

Молотов указал на кафедру. На внутренней стороне ее светилось табло «Докладчику пять минут». Против кафедры, над дверью, висели часы, черные с золотыми стрелками, похожие на кремлевские.

Сталин сидел в третьем ряду. Слева до конца ряда места пустовали, так что Сталин мог свободно выйти. Марк Александрович слышал о его привычке расхаживать по кабинету. Но, как и два дня назад, Сталин не вставал и не расхаживал.

Марк Александрович коротко прокомментировал проект решения. Он говорил лаконичным, почти техническим языком, убедительным для людей, привыкших к языку политическому. Подчеркнул досрочный пуск четвертой домны и только вскользь упомянул о задержке второй очереди мартеновского цеха. Второе было важнее первого. Но здесь сегодня важно подчеркнуть именно то, что подчеркнул Марк Александрович.

– Вопросы? – спросил Молотов.

Кто-то заметил, что в проекте решения, там, где говорилось о поставке леса, нет визы Наркомата лесной промышленности.

Марк Александрович не успел ответить. Вдруг наступила тишина, и в этой тишине Марк услышал голос Сталина:

– Пусть товарищ Рязанов едет на комбинат и дает металл. Было бы неправильно задерживать товарища Рязанова из-за бумажек.

Он говорил не только очень тихо, но отвернувшись в сторону, заставляя всех напрягаться, чтобы услышать его.

– Я думаю, мы сумеем получить визы и без товарища Рязанова. Решение продуманное, лишних запросов нету, и в наших силах помочь товарищу Рязанову выполнить задание партии.

Он замолчал так же неожиданно, как и начал.

Больше никто вопросов не задавал.

3

Респектабельный до революции, дом на Арбате оказался теперь самым заселенным – квартиры уплотнили. Но кое-кто сумел уберечься от этого – маленькая победа обывателя над новым строем. В числе победивших был и портной Шарок.

Мальчик в модной мастерской, закройщик, мастер и, наконец, муж единственной дочери хозяина – такова была карьера Шарока. Ее завершению помешала революция: ожидаемое наследство – мастерскую – национализировали. Шарок поступил на швейную фабрику и подрабатывал дома. Но попасть к нему удавалось только по надежной рекомендации – предосторожность человека, решившего никогда не встречаться с фининспектором.

Этот портной был еще статный, умеренно дородный, красиво стареющий мужчина с почтительно достойными манерами владельца дамского конфекциона. Шесть вечеров в неделю стоял он за столом с накинутым на шею сантиметром, наносил мелком линии кроя на материал, резал, шил, проглаживал швы утюгом. Зарабатывал деньги. Воскресенье проводил на ипподроме, его страстью был тотализатор.

Может быть, старый Шарок примирился бы с жизнью, если бы не вечный страх перед домоуправлением, соседями, всякими неожиданностями. Одной из них было осуждение старшего сына Владимира на восемь лет лагерей за ограбление ювелирного магазина. Он и раньше не слишком доверял этому вертлявому уродцу, похожему на мать и, следовательно, на обезьяну. Но довольствовался тем, что Владимир кончил поварскую школу при ресторане «Прага» и приносил домой зарплату. Конечно, сейчас повар не то, что раньше, какие теперь рестораны! Однако для физически слабого и неспособного к учению Владимира профессию выбрали удачно. Живя одним тотализатором, старик не придавал значения тому, что Владимир поигрывает в картишки. Но грабить?! Это не только по советским, это по любым законам – тюрьма.

Младший сын Шарока, Юрий, сдержанный, аккуратный подросток, лукавый и осторожный, выросший на арбатском дворе, вблизи Смоленского рынка и Проточных переулков, рассадников московского жулья и босячества, догадывался о воровской жизни брата, но дома ничего не рассказывал, законам улицы подчинялся с большей охотой, чем законам общества, в котором жил. Он не знал, в чем именно ущемила его революция, но с детства рос в сознании, что ущемила. Не представлял, как бы жилось ему при другом строе, но не сомневался, что лучше. Язвительное слово товарищи, ставшее обиходным в их семье для обозначения новых хозяев жизни, он переносил на школьных комсомольцев. Эти заносчивые активисты воображали, будто им принадлежит мир. Когда Саша Панкратов, тогда секретарь школьной комсомольской ячейки, выходил на трибуну и начинал рубать, Юра чувствовал себя беззащитным.

Он ненавидел политику, единственно приемлемой считал профессию инженера, она могла дать кое-какую независимость. Изменил эти планы случай, связанный опять же с арестом брата. Старик Шарок искал защитника, советовался с заказчиками, наконец нашел адвоката, который согласился вести процесс за пятьсот рублей. Сумма огромная, Шарок боялся ее вручать без свидетелей, взял с собой Юрия. Адвокат деньги пересчитывать не стал, открыл ящик стола, небрежно кинул туда пачку. На этом их визит и окончился, но Юрий успел разглядеть картины в золоченых рамах, золотые корешки книг за стеклами шкафов. Такой обстановки он еще не видел.

На улице старый Шарок завистливо вздохнул:

– Живут люди...

Но еще большее впечатление на Юру адвокат произвел в суде. Этот маленький человечек с помятым лицом и холеной бородкой вертел грозным пролетарским судом как хотел. Так, во всяком случае, казалось молодому Шароку. Адвокат сыпал статьями законов, прибегал к уловкам и ухищрениям, заставил вызвать новых свидетелей, назначить дополнительную экспер-

тизу, язвительно препирался с судьей и прокурором. В руках у мрачного судьи и неумолимого прокурора был закон, но закон пугал их самих – открытие, определившее жизненные планы молодого Шарока. Путь к адвокатуре лежал через вуз, дорога в вуз – через комсомол и завод.

Так в девятом классе Юрий Шарок стал комсомольцем. Сын рабочего, а это высоко ценилось в школе, где учились дети арбатской интеллигенции, он держался независимо, девочки считали – загадочно. Особенно нравился он умным, серьезным, активным девочкам. Им казалось, что они воспитывают его, формируют личность. Для них, чистых, доверчивых, был очень привлекателен этот паренек: красивый и сдержанный.

Потом на заводе Шарок приобрел то, чего ему недоставало раньше, – уверенность. Рабочий! Синяя, всегда чистая спецовка хорошо сидела на его стройной фигуре. Появилась грубоватость, выдаваемая за принципиальность, презрение к сильно интеллигентным, принимаемое за рабочую простоту. Скромный и молчаливый в школе, здесь он часто выступал на собраниях, резонно считая, что умение говорить публично пригодится будущему адвокату.

В институте Шарок ничем не выделялся, однако зарекомендовал себя исполнительным общественником. Он и не хотел выделяться. Газеты были полны сообщениями о вредителях, саботажниках, уклонистах. «Вывести на чистую воду! Беспощадно карать! Мерзавцы! Уничтожить! Добить! Выкорчевать! Вытравить! Стереть с лица земли!» Читая эти слова, эти фразы, короткие и неумолимые, как выстрел, Шарок испытывал страх. Он все хорошо понимал и все трезво оценивал. После института его зашлют в область, в район, в народный суд или прокуратуру. Он и не посмеет заикнуться о том, что хочет стать адвокатом. «Увиливаешь, Шарок!» – вот что ему ответят. Неужели придется отказаться от цели, к которой он так настойчиво стремился?

Отец сшил Юре костюм. Последнего фасона «чарльстон» – длинные широкие брюки и короткий, обтягивающий бедра пиджак с высокими плечами и ватной грудью. Голубоглазый Юра выглядел в нем очень представительно. Отрез купили в торгсине на Тверской.

– В Арбатском торгсине соседи толкуются, разевают голодные пасти, – сказал отец, – скажут: у Шарока золото припрятано, в ложке воды утопят.

Как ни жалел старик золотого браслета и золотых запонок, понимал: чтобы устроиться в Москве на хорошее место, надо быть прилично одетым, отошли, слава Богу, кожаные куртки и косоворотки. При всем своем эгоистическом равнодушии к семье и детям только к младшему Шарок испытывал чувство, похожее на отцовское: видел в нем себя в молодости. А в том, чтобы Юрий остался в Москве, был заинтересован крайне: домоуправление и без того зарится на вторую комнату, выпишется Юрий – отнимут.

– Знакомства, знакомства надо искать, – поучал он Юру.

Однако ни на заводе, ни в институте Юрий не приобрел друзей. Приводить в дом товарищей запрещалось. Родственники были бедны, ничего, кроме обузы, в них не видели, к ним не ходили, у себя не принимали. Свободное время Шарок-отец проводил на бегах, мать – в церкви. На Пасху дети получали кусок кулича, на Масленицу блины – этим и ограничивались праздники. Старый Шарок в Бога не верил, не мог простить ему своего разорения. Еще меньше прощал он это Советской власти. Первого мая и Седьмого ноября работал, как в будни.

Связи со школьными товарищами оказались самыми устойчивыми. Три одноклассника жили с Юрой в одном доме. Саша Панкратов – секретарь комсомольской ячейки школы, Максим Костин – сын лифтерши, товарищи называли его Макс, Нина Иванова – сердобольная комсомолка, воспитывавшая и образовавшая Шарока. Вместе с Леной Будягиной, дочерью известного дипломата, они составляли в школе сплоченную группу активистов. Собирались у Лены, в Пятом доме Советов. Будягин жил за границей, квартира была в распоряжении ребят. Юра появлялся там, смутно сознавая, что такие связи ему пригодятся. Сегодня это смутное

сознание превратилось в реальную надежду. Будягин, отозванный из-за границы и назначенный заместителем наркома тяжелой промышленности, может ему помочь.

С Воздвиженки Юра свернул на улицу Грановского. Здесь, в Пятом доме Советов, здании, выложенном из серого гранита, обитали они. В садике, огороженном стрельчатой решеткой, играли их дети. С непроницаемым лицом Юрий ожидал в подъезде, пока старик швейцар звонил Будягиным по телефону. Потом поднялся на третий этаж и нажал кнопку звонка.

Дверь открыла Лена, как всегда, застенчиво улыбнулась ему. Высокий рост заставлял ее чуть наклонять голову с тяжелым клубком черных волос. На прекрасном, матовом, удлинённом лице несколько великоватым казался ярко-красный рот с чуть вывернутыми губами. У Ленки левантийский профиль, сказала как-то Нина. Что такое «левантийский», Юра не знал, но то, что Лена Будягина была самой красивой девочкой в школе, знал хорошо.

С грубоватой фамильярностью старого товарища Юрий притянул ее к себе. Она не отстранилась.

– Ребята пришли?

– Нет еще.

– Иван Григорьевич дома?

По коридору, пахнушему свеженатертыми полами, она провела его в кабинет отца.

– Папа, вот Юра к тебе.

И, пропуская Шарока, улыбнулась ему счастливой преданной улыбкой.

Узкая комната, полутемная от того, что выступ наружной стены наполовину закрывает окно. Книги, газеты, журналы, проспекты, русские и иностранные, лежат на столе, на этажерке, на стульях, на полу. Карта полушарий, испещренная пунктирными линиями паромоходов сообщений, висит над кушеткой. Юра заметил черные цифры трехзначного номера на бюллетене – Будягин закрыл его и отложил в сторону: секретный документ, рассылаемый только членам ЦК и ЦКК. Юра отметил еще заграничную ручку «Паркер», сигареты «Тройка», ботинки на каучуке и пиджак особого покроя, какие шил дипломатам высшего ранга знаменитый Энтин.

– Слушаю, – сказал Будягин спокойно-деловым тоном: привык, что к нему обращаются с просьбами. На его сухощавом черноусом лице под густыми бровями глаза казались еще более глубокими, чем у Лены.

– Институт кончаю, Иван Григорьевич, совправа. А брат сидит...

Из коридора донесся звонок, шум открываемой двери.

– Суд, прокуратура – не пропустят, – продолжал Шарок, – остается хозяйственно-юридическая работа. Хотелось бы на предприятие. До института я работал на Фрунзенском заводе. Знаю людей, производство.

Будягин скользнул по Юрию отстраненным взглядом. Уверен в своем праве руководить другими. Что для него Юра и такие, как Юра? Они привыкли управлять массами, решать судьбы масс.

– Ты к Эгерту зайди. Я скажу ему.

– Спасибо, Иван Григорьевич.

– Брат за что?

– Уголовное. Мальчишка, связался с компанией...

– Старую юстицию мы разогнали, – сказал Будягин, – а новая малограмотна. Нужны образованные люди.

– Я понимаю, Иван Григорьевич, – охотно согласился Шарок, – но ведь не от меня зависит. Органы суда и прокуратуры, а тут брат...

– К Эгерту, к Эгерту зайди, – повторил Будягин, – я позволю ему. Значит, в юрисконсулы.

Так и сказал – юрисконсулы. Царапнул по сердцу.

И все же цель достигнута. Результат – только он имеет значение. Вот как это делается! Одним трудно, другим все легко. Раньше легко было тем, кто имел деньги, теперь тем, у кого власть.

Кончено с институтом, со столовой, пропахшей кислой капустой, с ненавистными субботниками, нудными собраниями, вечными проработками, страхом сказать не то слово. Он даже ни разу не появился в институте в новом костюме, не хотел выделяться среди студентов, выклянчивающих в профкоме ордер на брюки из грубошерстного сукна.

Они, конечно, будут заседать, произносить слова, Юра представлял их враждебные лица, угрюмую непробиваемость вожаков. Увиливаешь, Шарок, дезертируешь... А он будет стоять перед ними спокойный, улыбающийся. Что, собственно, случилось? Из-за чего шум? Он возвращается в коллектив, который его вырастил. Раньше там было семьсот рабочих, теперь пять тысяч. Первенец пятилетки! Работа на нем – честь для молодого специалиста. Он сам добивался этого назначения? Почему же сам? Просто не отрывался от завода. И когда его спросили, хочет ли он после института вернуться обратно, ответил «хочу». А что должен был ответить? Он гордится вниманием к его судьбе, судьбе простого советского человека.

Так он им вмажет. Тут-то они и завияют. Даже похлопают по плечу: давай, мол, Шарок, действуй, давай!

Он ощутил свою силу, свое превосходство и над теми, в институте, и над этими – здесь, в Пятом доме Советов. Эти властные интеллигенты всегда лишь снисходили к нему. Обратись к Будягину с такой просьбой Сашка Панкратов, Будягин бы ему отказал – работать надо там, куда посылает партия! А тому, кого не уважаешь, можно бросить кусок. И эти ребята, сидящие в просторной столовой, его школьные друзья, тоже никогда не уважали его. И сейчас презирают за то, что он прибегает к помощи Ивана Григорьевича. Пусть думают что хотят. Быть может, он ходил к Будягину за советом. Как к старшему товарищу. Вот именно, как к старшему товарищу! Впрочем, они не спросят, зачем ходил, деликатные.

– Привет! – сказал Шарок.

– Привет! – ответил за всех Максим Костин.

В отутюженной гимнастерке, до блеска начищенных сапогах, с тщательно причесанными русыми волосами, широкоплечий, румяный, Максим сиял, как положено сиять молодому курсанту, получившему увольнительную на целый день.

Рядом с ним на диване сидела Нина Иванова, приминала пятками наполовину снятые туфли. «Купила бы, дура, номером побольше», – подумал Шарок. Никогда Нинка не умела одеваться, и в пир, и в мир – в одной кофте. И причесываться не умела, прикрывать надо лоб лошадиный, а не откидывать патлы назад.

Вадима Марасевича он похлопал по плечу. К этому безвредному пустобреху, сынку известного московского врача, Юра относился миролюбиво. Тучный, рыхлый, с толстыми губами и короткими лохматыми, как у рыси, бровями над маленькими мутными глазками, Вадим, развалясь в кресле, рассуждал об Уэллсе.

Маленький Владлен Будягин делал уроки, сидел, разбросав по столу тетради, поджав под себя ноги в длинных коричневых чулках. Лена рассеянно следила за движением пера, которым брат выводил косые буквы, улыбнулась Юре, кивнула – садись...

Вот и вся их компания. Нет только Саши Панкратова.

– Уэллс предсказывает войны, эпидемии, распад США, – говорил Вадим, – а потом власть возьмут ученые и летчики.

– История человечества не фантастический роман, – возразила Нина, – власть берут классы.

– Бесспорно, – снисходительно согласился Вадим, – но интересен ход мыслей: ученые и летчики – рычаги будущей власти, технократия, покорившая пространство.

– Братцы, – сказал Максим, – вооружаться будет Германия, все вооружаются.

– Гитлер долго не продержится, – возразила Нина, – восемь миллионов голосовали за социал-демократов, пять – за коммунистов.

– А Тельмана спрятать не смогли, – вступил в разговор Юра, имея в виду, что пять миллионов, не сумевших сбересть одного, ничего не стоят.

Но никому и в голову не пришло искать в его словах тайный смысл. Слишком они верили сами, чтобы ставить под сомнение веру товарища. Они могли спорить, ссориться, но были непоколебимы в том, что составляло смысл их жизни: марксизм – идеология их класса, мировая революция – конечная цель их борьбы, Советское государство – несокрушимый бастион международного пролетариата.

– Отучились от конспирации, – сказал Максим.

– Димитров трясет это государство как грушу, – подхватил Вадим Марасевич, – феерическое зрелище, процесс века!

Он заговорил о процессе Димитрова, о возможности войны, то есть о симптомах ее, понятных ему и непонятных другим. Но здесь хорошо знали Вадима и не дали ему разглагольствовать. Новая бойня? Человечество не забыло мировую войну, унесшую десять миллионов жизней. Нападение на Советский Союз? Разве допустит это мировой рабочий класс? И Россия уже не та. Выдают чугуны Магнитка и Кузнецк, пущены Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Горьковский и Московский автомобильные, «Фрезер», «Калибр», «Шарикоподшипник», построены первые советские блюминги.

Их сердца наполнялись гордостью. Вот она, их страна, ударная бригада мирового пролетариата, оплот грядущей мировой революции. Да, они живут по карточкам, отказывают себе во всем, зато они строят новый мир. Когда люди голодны, тучные витрины торгсинов – отвратительное зрелище. Но на это золото будут построены заводы – залог будущего изобилия.

Так они говорили всегда. И все здесь такое, как всегда. Натертые полы, длинный стол под низким абажуром, на столе мармелад – покой устроенного сановного дома. Разливая чай, Ашхен Степановна спрашивает: «Максим, тебе с лимоном?» – и, как всегда, русское имя «Максим» в устах этой армянки кажется Шароку нарочитым.

И все же? Чего достигли они, которым все доступно? Нина – учительница, Лена – переводчица с английского в технической библиотеке. Максим кончает пехотное училище, будет тянуть армейскую лямку. Они простодушны – вот в чем их роковая слабость. Таковы были мысли Юрия Шарока. Но спросил он следующее:

– Ребята, а где же Саша?

– Не придет, – ответил Максим.

В его коротком ответе Шарок уловил неприятную ему сдержанность комсомольских активистов, знающих то, чего не должны знать другие.

– Что-нибудь случилось?

Лена сказала, что у Саши неприятности и ее отец звонил Глинской.

Несгибаемый Сашка! Вот это номер! Юра пришел в хорошее настроение. Когда его, Шарока, принимали в комсомол, Сашка произнес короткое «не доверяю» и воздержался при голосовании. На заводе Шарока определили в ученики к фрезеровщику, а Саша вызвался идти на срочную разгрузку вагонов и на год застрял в грузчиках – стране, видите ли, нужны и грузчики. Хотел поступить на исторический, пошел в технический: стране нужны инженеры. Из того же материала, что и Будягин, недаром тот так его любит. Но что все же произошло? Будь это ерунда, Будягин бы не вмешивался.

– У нас в институте, – сказал Юра, – один парень подал на собрании реплику: «Что такое жена? Гвоздь в стуле...»

– Вычитал у Менделя Маранца, – заметил Вадим Марасевич.

– ...А собрание было по поводу Восьмого марта. Его исключили из института, из комсомола, из профсоюза...

- Реплика была не к месту, – сказала Нина Иванова.
- Всех исключать, кто же останется? – нахмурился Максим.
- Когда исключения становятся правилом, они перестают быть исключением, – сострил Вадим.

Лена Будягина родилась за границей, в семье политэмигрантов. После революции она жила там с отцом-дипломатом и вернулась в Россию, нетвердо зная родной язык. А она не хотела отличаться от товарищей, тяготилась тем, что подчеркивало исключительность ее положения, была чувствительна ко всему, что казалось ей истинно народным, русским.

Юрка Шарок, простой московский рабочий парень, независимый, самолюбивый и загадочный, сразу же привлек ее внимание. Она помогала Нине Ивановой его воспитывать, но сама понимала, что делает это не только из интереса общественного. И Юра это понимал. Однако в школе дела любовные третировались как недостойные настоящих комсомольцев. Дети революции, они искренне считали, что отвлечение на личное – это предательство общественного.

После школы Юра, не делая решительных шагов к сближению, искусно поддерживал их отношения на той грани, на которой они установились: иногда звонил, звал в кино или в ресторан, заходил, когда собиралась вся компания. Обняв Лену в коридоре, Юра перешел эту грань. Неожиданно, грубо, но с той решительностью, которая покоряет такие натуры.

Несколько дней она ждала его звонка и, не дождавшись, позвонила сама, просто так, как они обычно звонили друг другу. У нее был ровный голос, она старалась четко произносить окончания слов, обдумывая ударения, и говорила медленно, даже по телефону чувствовалась ее застенчивая улыбка. Но Юра ждал звонка.

– Я сам собирался звонить тебе. У меня на шестое два билета в Деловой клуб. Будут танцы. Пойдем?

– Конечно.

Шестого ноября вечером он зашел за ней. Она вышла к нему в длинном вечернем платье, голубовато-зеленом, с коротким шлейфом. От нее пахло незнакомыми духами, в черных гладких волосах блестела нитка жемчуга – женщина совсем из другой жизни, пронзительно красивая и эффектная. Только улыбка была по-прежнему застенчивая, этой улыбкой она как бы спрашивала Юру, нравится ли она ему и понимает ли, что оделась она так ради него.

Лена открыла дверь столовой.

– Владик, в десять часов ляжешь спать.

– Лягу, – ответил Владлен, мастера что-то на подоконнике.

подавая ей пальто, Юра спросил:

– А где твои?

– Папа в Краматорске, мама в Рязани.

– На праздниках?

– Папа на праздник всегда выезжает на заводы, а мама лектор.

Подбирая под пальто длинное платье, она, улыбаясь, сказала:

– Вот в этом и неудобство.

Им повезло. Со двора выезжала машина. Шофер оказался Лене знаком и подвез их до Мясницкой. Пожилой, важный, из тех, кто возит высокое начальство, он был предупредителен к Лене и не замечал Юру. Но Юра не стал задерживаться на этой мысли, думал о том, что Лена одна и после клуба можно зайти к ней. Она сидела рядом с ним на мягком сиденье, ее близость волновала его, но еще больше волновала и пугала мысль, что именно сегодня все может совершиться.

Он встречался с женщинами, но то было совсем другое. Соседская домработница, распутная девчонка во дворе, девчата в деревне, куда он ездил с отцом. С ними было просто, они сами отвечали за себя, здесь он будет отвечать за все, с Будягиным шутить опасно. Другой

на его месте женился бы, но что-то пугало Юру, слишком высокий прыжок. И будет ли Лена той женой, которая ему нужна? Ее семью, чуждую и враждебную, он не представлял рядом со своей семьей. Надо подождать. Он не терял надежды стать адвокатом, добиться независимости. Женившись на Лене, он привяжет себя ко всей этой колеснице.

Они остановились у Делового клуба. Юра не знал, как открыть дверь машины, повернул одну ручку, другую, дверь не открывалась. Тогда Лена, перегнувшись через него, нажала нужную ручку и, мягко улыбаясь, сказала:

– В этой машине очень неудобные ручки.

Ее попытка сгладить неловкость уязвила Шарока – Лена подчеркнула, что он никогда не ездил в таких машинах. Но он опять взял себя в руки. Холодно взглянув на шофера, вошел вслед за Леной в Деловой клуб. Он будет делать то, что хочет, жить так, как ему нравится. Сейчас ему нравится Лена. Он сидел с ней, ловил направленные на них взгляды, он привык к женским взглядам, но сегодня они были другими, особенными: любопытство к мужчине, которого отметила своим вниманием самая заметная здесь женщина.

Пела Русланова, Хенкин читал рассказы Зоценко. Потом начались танцы. Лена танцевала послушно. Может быть, не так легко, как девчонки на танцплощадках, но сама смеялась над своей неловкостью, доверчиво прижималась к нему.

Она вышла поправить прическу, Юра стоял у колонны, разглядывал собравшихся здесь людей. Командиры промышленности, научные работники, верхи московской технической интеллигенции, те, что работают в наркоматах, трутся возле начальства, получают высокие оклады, премии, отовариваются в закрытых распределителях, ездят в выгодные командировки. Юра хорошо знал, как быстро выдвигаются счастливицы, которые после института попадают в высшие учреждения, и какую лямку тянут те, кого посылают на производство.

Чего достигнет он на заводе? Будет бегать по народным судам, вести ничтожные дела об увольнении и прогулах, тяжбы о плохом качестве брезентовых рукавиц. Другое дело – юридический отдел наркомата, главка, треста. Крупные дела, высокие инстанции – верховные суды Союза и республик. Может пригодиться и для будущей адвокатуры. Но все это потом. Главное – вырваться из общего распределения, а там все уже будет проще.

Стрелка часов показывала одиннадцать. Юра хотел вернуться к Лене до того, как швейцар закроет дверь подъезда.

– Ты не устала? – спросил он.

– Побудем еще, – улыбаясь, попросила Лена.

Был уже час ночи, когда они вышли из клуба. Накрапывал редкий дождик, приятный и освежающий после душного зала. По стеклам уличных фонарей стекали струйки воды, на улице ни одного прохожего. Только в здании ОГПУ светились окна.

Они подошли к ее дому.

– Зайдем, посидим?

То, как просто произнесла она эти слова, поразило Юру.

Он молча последовал за ней. Дверь им открыл тот же старичок швейцар. Не спросил, почему посторонний человек так поздно поднимается к Будягиным. Вышколенный. Ничему не должен удивляться.

Лена зажгла свет в передней, приоткрыла дверь столовой.

– Спит... Посиди у папы, я переоденусь.

Она зажгла в кабинете верхний свет, еще раз улыбнулась Юре и оставила его одного.

Шарок перебрал стопку книг: томик Ленина с заложенными между страниц полосками бумаги, книги по металлургии. «Петр Первый» Алексея Толстого. Не было официальных бумаг, секретных бюллетеней, запрещенных книг, которые дозволено читать им одним, оружия, которое все они имеют, – Юра был убежден, что это «браунинг», его удобно носить в

заднем кармане. Им овладело желание увидеть что-то запретное, недоступное, прикоснуться к тайне их власти.

В любую минуту может войти Лена, надо торопиться. Он потянул на себя средний ящик стола – заперт, начал дергать боковые ящики, они тоже не открывались. Едва успел откинуться на спинку кресла, когда вошла Лена, в белой кофточке и синей юбке, такая, какой он привык ее видеть.

– Хочешь, я сварю кофе?

Она двигалась рядом с ним, касалась его, улыбалась ему, и, когда, разливая кофе, наклонилась к столу, он увидел ее грудь. Он никогда не был с Леной один ночью, никогда не пил такого кофе, такого ликера.

– Хочешь еще?

– Хватит.

Он пересел на диван.

– Посидим...

С чашкой в руке она тоже пересела на диван. Он взял из ее рук чашку и поставил на стол. Удивленно улыбаясь, она смотрела на него. И тогда с бесцеремонностью уличного парня, прямо глядя в ее испуганные глаза, он притянул ее к себе.

4

Седьмого ноября Саша ждал институтскую колонну на углу Тверской и Большой Грузинской.

Колонны двигались медленно. Над рядами колыхались знамена, транспаранты, портреты... Сталин... Сталин... Сталин... Пожилые мужчины озабоченно дули в трубы, в рядах пели нестройными голосами, танцевали и плясали на асфальте. Громкоговорители разносили звуки и шумы Красной площади, голоса радиокomentаторов, приветствия с Мавзолея, восторженный гул проходящих через площадь демонстрантов.

Институтская колонна показалась часов около двух и сразу остановилась. Ряды смешались. Проталкиваясь сквозь толпу, Саша подошел к своей группе. И тут же поймал направленные на себя настороженно-любопытные взгляды: так смотрят на человека, попавшего в беду. Это не из-за бюро. Это что-то другое.

Но никто ничего не говорил Саше, и он не спрашивал. Только приятель его, Руночкин, видно, хотел что-то сказать, но не мог отойти от транспаранта, который нес.

– Стройся! Стройся! – закричали линейные.

Ряды были рассчитаны, Саша встал в конце колонны, там шли студенты других курсов. Со своего места он видел факультетское знамя и транспарант, который на двух палках несли Руночкин и еще один парень. Преодолевая сопротивление ветра, транспарант вытянулся, запрокинулся назад, полотнище перекошилось, потом выпрямилось. Колонна двинулась.

Не доходя до Триумфальной площади, опять остановились. Саша подошел к своей группе, ему навстречу шел Руночкин.

– Стенгазету сняли.

Маленький, кособокий, Руночкин к тому же еще косил глазом и потому, когда говорил, немного отворачивал и наклонял голову.

Сняли стенгазету! За что? Такого еще не бывало.

– Кто снял?

– Баулин. Из-за эпиграмм. Опошление ударничества.

Редактором был Руночкин. Но написать эпиграммы предложил Саша и одну даже сам сочинил, на старосту группы Ковалева: «Упорный труд, работа в моде, а он большой оригинал, дневник теряет, как в походе, и знает все, хоть не читал». Остальные три эпиграммы написала Роза Полужан. На Борьку Нестерова: «Свиная котлета и порция риса – лучший памятник на могилу Бориса»; на Петьку Пузанова – любит поспать; на Приходько – ловчит во время практической езды и ездит больше всех. Не гениально, даже не смешно, но невинно. «Опошление ударничества»!

– В чем опошление?

Руночкин наклонил набок голову.

– В эпиграммах. Почему только на ударников? Я говорю: мы поместили фотографии только ударников, вот и эпиграммы заодно. А почему нет передовой?

Не писать передовую тоже предложил Саша. Зачем повторять то, что будет в других газетах?! Надо выпустить номер веселый, действительно праздничный, чтобы читался, а не висел уныло в коридоре. Ребята с ним тогда согласились. Только осторожная Роза Полужан выразительно посмотрела на Сашу.

– Лучше напиши передовую и подпиши ее.

– Азияна боишься?

Так ответил он Розе. И вот что из этого получилось. Еще тянется история с Азияном, а тут новая. Ладно, отобьемся!

У Страстной площади колонна снова остановилась. Отсюда пойдут без задержек, и линейные тщательно проверяли, нет ли в рядах посторонних, выравнивали, подтягивали колонну, чтобы потом, не останавливаясь, быстрым шагом пройти последний отрезок пути к Красной площади.

К группе подошли Баулин и Лозгачев. На рукаве у Лозгачева красная повязка начальника институтской колонны.

– Панкратов, – Баулин сурово смотрел на Сашу, – не считаешь нужным являться на демонстрацию?

Баулин был не прав. Живущие в городе всегда присоединялись к колонне по дороге. И Баулин не мог знать, кто из тысячи студентов приехал в институт, а кто подошел позже. А вот о Саше узнал, интересовался, подошел, публично зафиксировал Сашин проступок. Несправедливость тем более унижительная, что Баулин убежден: здесь, на глазах у всех, Саша не посмеет ему возразить.

А почему не посмеет?

– Я на демонстрации, вы меня видите, кажется. Это не галлю-ци-на-ция, – ответил Саша с той обманчивой вежливостью, с какой интеллигентные арбатские мальчишки разговаривают перед дракой.

– Смотри не зарвись, – только и сказал Баулин.

И, не дожидаясь Сашиного ответа, пошел дальше.

Двумя потоками обтекая Исторический музей, колонны вливались на Красную площадь, подтягивались, прибавляя шаг, и по площади уже почти бежали, разделенные сомкнутыми рядами красноармейцев.

Сашина колонна проходила близко от Мавзолея. На трибунах стояли люди, военные атташе в опереточных формах, но никто не смотрел на них, все взгляды были устремлены на Мавзолей, всех волновало только одно: здесь ли Сталин, увидят ли они его?

И они увидели его. Черноусое лицо, точно сошедшее с бесчисленных портретов и скульптур. Он стоял, не шевелясь, в низко надвинутой фуражке.

Гул нарастал. Сталин! Сталин! Саша, как и все, шел, не отрывая от него глаз, и тоже кричал: Сталин! Сталин! Пройдя мимо трибун, люди продолжали оглядываться, но красноармейцы торопили их – не задерживаться! Шире шаг! Шире шаг!

У храма Василия Блаженного колонны смешались, беспорядочная толпа спускалась к Москве-реке, поднималась на мост, заполняла набережные. На грузовики складывали барабаны, трубы, знамена, плакаты и транспаранты. Все торопились домой, усталые, голодные, спешили к Каменному мосту и Пречистенским воротам, к трамваям.

В эту минуту гул на площади достиг высшей точки и, как раскат грома, докатился до набережной – Сталин поднял руку, приветствуя демонстрантов.

После праздников назначили срочное заседание партийного бюро с активом. Собрались в малом актовом зале. На трибуне стоял Лозгачев, перебирал бумаги.

– На факультете, – сказал он, – произошло два антипартийных выступления. Первое – вылазка Панкратова против марксизма в науке об учете, второе – выпуск тем же Панкратовым стенной газеты. Пособниками Панкратова оказались комсомольцы Руночкин, Полужан, Ковалев и Позднякова. Коммунисты и комсомольцы группы не дали им отпора. Это свидетельствует о притуплении политической бдительности.

В праздничном номере газеты, – говорил Лозгачев, – нет передовой статьи о шестнадцатой годовщине Октября, ни разу не упоминается имя товарища Сталина, портреты ударников снабжены злобными, клеветническими стишками. Вот одно из них, кстати, написанное самим Панкратовым: «Упорный труд, работа в моде, а он большой оригинал, дневник теряет, как в походе, и знает все, хоть не читал». Что значит «труд в моде»?.. – Лозгачев обвел зал строгим

взглядом. – Разве у нас труд «в моде»? Трудом наших людей создается фундамент социализма, труд у нас – дело чести. А для Панкратова это всего лишь очередная «мода». Написать так мог только злопыхатель, стремящийся оболгать наших людей. А ведь на прошлом партбюро некоторые пытались обелить Панкратова, уверяли, что его вылазки на лекции Азизяна, защита им Криворучко – случайность.

– Кто это «некоторые»? – спросил Баулин, хотя он, как и все, знал, о ком идет речь.

– Я имею в виду декана факультета Янсона. Думаю, что он не должен уйти от ответственности.

– Не уйдет, – пообещал Баулин.

– Товарищ Янсон, – продолжал Лозгачев, – создал на факультете обстановку благодушия, беспечности и тем позволил Панкратову осуществить политическую диверсию.

– Позор! – выкрикнул Карев, студент четвертого курса, миловидный парень, известный всему институту демагог и подлипала.

– Партийное бюро института, – закончил Лозгачев, – решительно реагировало на вылазку Панкратова и сняло газету. Это свидетельствует о том, что в целом партийная организация здорова. Наше твердое и беспощадное решение подтвердит это еще раз.

Он собрал листки и сошел с трибуны.

– Редактор здесь? – спросил Баулин.

Все задвигались, разглядывая Руночкина. Маленький, косоглазый Руночкин поднялся на трибуну.

– Расскажите, Руночкин, как вы дошли до жизни такой, – проговорил Баулин с обычным своим зловещим добродушием.

– Мы думали, что не стоит повторять передовую многотиражки.

– При чем тут многотиражка? – нахмурился Баулин. – Когда вы выпускали номер, она еще не вышла.

– Но ведь потом вышла.

– И вы знали, какая в ней будет передовая?

– Конечно, знали.

В зале засмеялись.

– Не стройте из себя дурачка, – рассердился Баулин, – кто не дал писать передовую? Панкратов?

– Не помню.

– Не помните... Вас это не удивило?

Руночкин только пожал плечами.

– А предложение Панкратова написать эпиграммы удивило?

– Раньше мы их тоже писали.

– Вы понимаете свою ошибку?

– Если рассуждать так, как товарищ Лозгачев, то понимаю.

– А вы как рассуждаете?

Руночкин молчал.

– Дурачка строит! – выкрикнул опять Карев.

Баулин посмотрел в бумажку.

– Позднякова здесь?

Улыбаясь, хорошенькая Позднякова поднялась на трибуну.

– Что я могу сказать? Саша Панкратов решил передовой не писать, а ведь он комсорг, мы должны его слушаться.

– А если бы он вам велел прыгнуть с пятого этажа?

– Я не умею прыгать, – ответила Надя, – и я думала...

– Вы ни о чем не думали, – перебил ее Баулин. – Или вам нравится, когда так издеваются над ударниками учебы?

– Нет.

– Почему не возразили?

– Они бы меня не послушали.

– А почему не пришли в партком?

– Я... – Позднякова поднесла платок к глазам. – Я...

– Хорошо, садитесь! – Баулин опять посмотрел в бумажку. – Полужан!

– Нечего их слушать, пусть Панкратов отвечает! – крикнули из зала.

– Дойдет очередь и до Панкратова. Говорите, Полужан!

– Все случившееся я считаю большой ошибкой, – начала Роза.

– Ошибки бывают разные!

– Я считаю это политической ошибкой.

– Так и надо говорить сразу, а не когда тянут за язык.

– Я это считаю грубой политической ошибкой. Я только прошу принять во внимание, что я предлагала написать передовую.

– Вы думаете, это вас оправдывает? Вы умыли руки, хотели себя обезопасить, а то, что такая пошлятина будет висеть на стене, вас не волновало? Вы сами писали эпиграммы?

– Да.

– На кого?

– На Нестерова, Пузанова и Приходько.

– Один обжора, другой – сонная тетеря, третий – жулик. И это вы считаете прославлением ударничества?

– Это моя ошибка, – прошептала Роза.

– Садитесь!.. Ковалев!

Бледный Ковалев вышел на трибуну.

– Я должен честно признать: когда шел сюда, мне не была полностью ясна политическая суть дела, казалось, что это шутка, глупая, неуместная, но все же шутка. Теперь я вижу, что мы все оказались орудием в руках Панкратова. Правда, я настаивал на передовой. Но когда речь зашла об эпиграммах, смолчал: эпиграмма писалась на меня, и мне казалось, что, если я буду возражать, ребята подумают, что спасаю себя от критики.

– Постеснялся? – усмехнулся Баулин.

– Да.

– Ковалев сразу пришел в бюро и честно рассказал, как все было, – заметил Лозгачев.

– Лучше бы он пришел до того, как повесили газету, – возразил Баулин.

Поднялся Сиверский, преподаватель топографии. Саша никак не предполагал, что он член партии. Этот молчаливый человек с военной выправкой, в синих кавалерийских галифе и длинной белой кавказской рубашке казался ему бывшим офицером царской армии.

– Ковалев! Вы стеснялись возражать против эпиграмм на себя?

– Да.

– Почему же вы не возражали против эпиграмм на других?

– Демагогический вопрос! – раздался голос Карева.

– Запутывает дело! – крикнул еще кто-то.

Баулин обвел рукой зал.

– Слышите, товарищ Сиверский, как собрание расценивает ваш вопрос?

– Я хотел сказать молодому человеку Ковалеву, что ему не стоило бы так начинать жизнь, – спокойно произнес Сиверский и сел.

– Вы можете выступить в прениях, – ответил Баулин. – А сейчас послушаем главного организатора. Панкратов, пожалуйста!

Саша сидел в заднем ряду, среди студентов с других факультетов, слушал, обдумывал, что ему сказать. От него ждут признания ошибок, хотят услышать, как он будет раскаиваться, чем будет оправдываться. Жалел ли он о том, что произошло? Да, жалел. Мог не пререкаться с Азизяном, мог выпустить газету так, как ее выпускали всегда. И не получилось бы тогда всей этой истории, которая так неожиданно и нелепо ворвалась в его жизнь и в жизнь его товарищей. И все же надо выстоять, отстоять ребят, заставить выслушать себя. Здесь не только Баулин, Лозгачев и Карев, здесь Янсон, Сиверский, здесь его товарищи, они сочувствуют ему.

Зал притих. Те, кто вышел покурить, вернулись. Многие встали со своих мест, чтобы лучше видеть.

– Мне предъявлены тяжелые обвинения, – начал Саша, – товарищ Лозгачев употребил такие выражения, как политическая диверсия, антипартийное выступление, злопыхательство...

– Правильно употребил! – крикнул из зала, наверно, Карев, но Саша решил не обращать внимания на выкрики.

Баулин постучал карандашом по столу.

– Доцент Азизян в своих лекциях не сумел сочетать теоретическую часть с практической и тем лишил нас знакомства с важными разделами курса, – продолжал Саша.

Азизян вскочил, но Баулин движением руки остановил его.

– О стенгазете. Прежде всего я, как комсорг, полностью несу ответственность за этот номер.

– Какой благородный! – закричали из зала. – Позер!

– Именно я сказал, что передовой не надо, именно я предложил поместить эпиграммы и сам написал одну из них. И ребята это могли рассматривать как установку.

– Установку? От кого вы ее получили? – пристально глядя на Сашу, спросил Баулин.

В первую минуту Саша не понял вопроса. Но когда его смысл дошел до него, ответил:

– Вы вправе задавать мне любые вопросы, кроме тех, что оскорбляют меня. Я еще не исключен.

– Исключим, не беспокойся! – крикнули из зала. Уж это-то точно Карев.

– Дальше. Передовую не написали потому, что не хотелось повторять того, что будет в нашей многотиражке и факультетском бюллетене. Там более квалифицированные журналисты...

– Судя по эпиграмме, ты даже поэт, – насмешливо сказал Баулин.

– Писака! – крикнули из зала.

– Я допустил ошибку, – продолжал Саша, – передовую надо было написать. Теперь об эпиграммах. В них самих нет ничего предосудительного. Ошибка в том, что их поместили под портретами ударников. Это исказило смысл.

– Зачем поместили?

– Думалось повеселить ребят в праздник.

– Весело получилось, ничего не скажешь, – согласился Баулин.

Все засмеялись.

– Но, – продолжал Саша, – обвинения в политической диверсии я отвергаю категорически.

– Скажите, Панкратов, вы обращались к кому-нибудь за содействием? – спросил Баулин.

– Нет.

Баулин посмотрел на Глинскую, потом на Сашу.

– А к заместителю наркома Будягину?

– Нет.

– Почему же он просил за вас дирекцию института?

Саше не хотелось называть Марка, но выхода не было.

- Я рассказал об этом Рязанову, моему дяде, а он, по-видимому, Будягину.
- По-видимому... – насмешливо повторил Баулин. – Но ведь Рязанов на Востоке.
- Он приезжал в Москву.
- Рязанов случайно в Москве, вы случайно ему рассказали, он случайно рассказал Будягину, Будягин случайно позвонил Глинской... Не слишком ли много случайностей, Панкратов? Не честнее было бы прямо сказать: да, я искал обходные пути.
- Я объяснил, как было в действительности.
- Выкручивается! Неискренне! Нечестно!
- К Кареву присоединились еще несколько крикунов.
- Больше вам нечего сказать?
- Я все сказал.
- Садитесь.
- Саша сошел с трибуны.
- Кто хочет выступить? – спросил Баулин.
- Янсона! Янсона! Пусть Янсон скажет!
- Янсон с сердитым лицом поднялся на трибуну.
- Товарищи, вопрос, который мы обсуждаем, очень важен.
- Это мы и без тебя знаем, – закричали из зала.
- Но следует отделить объективные результаты от субъективных побуждений.
- Это одно и то же!
- Не философствуй!
- Нет, это не одно и то же. Но позвольте мне довести свою мысль до конца.
- Не позволим! Хватит!
- Опять поднялся Сиверский:
- Товарищ Баулин, призовите к порядку дезорганизаторов. В такой обстановке невозможно работать.
- Баулин сделал вид, что не слышал замечания.
- Панкратов занял позицию аполитичную и, следовательно, обывательскую, – упрямо продолжал Янсон.
- Мало! Мало! – закричал Карев.
- Подождите, товарищи, – поморщился Янсон, – послушайте...
- Слушать нечего!
- Чтобы назвать эти выступления антипартийными, назвать их политической диверсией, мы должны найти у Панкратова преднамеренность. Только при наличии умысла...
- Не вилай!
- О себе скажи, о своей роли!
- Итак, хотел ли Панкратов нанести вред делу партии? Я думаю, что сознательного намерения не было.
- Примиренец! Замазывает!
- Товарищ Янсон, – сказал Баулин, – вас просят рассказать о собственной роли в случившемся.
- Никакой моей роли нет. Я газету не выпускал и санкции на ее выпуск не давал. Доцент Азизян обратился не ко мне, а к вам.
- А почему вы не сняли газету? – спросил Баулин.
- Наверное, вы ее увидели первым.
- А почему вы не увидели? Вам ближе, кажется?
- Янсон пожал плечами:
- Если вы придаете этому значение...
- Достаточно! Хватит!

Янсон постоял, опять пожал плечами и пошел на свое место.

Баулин не вышел на трибуну, говорил из-за стола президиума. Повесил только пиджак на спинку стула, остался в косоворотке. Он уже не улыбался, не усмехался, рубил категорическими фразами:

– Панкратов рассчитывал на безнаказанность. Рассчитывал на высоких покровителей. Был уверен, что партийная организация спасует перед их именами. Но для партийной организации дело партии, чистота партийной линии выше любого имени, любого авторитета...

Он выдержал паузу, рассчитанную на аплодисменты. В двух-трех местах раздались недружные хлопки, и Баулин, делая вид, что не дает себе аплодировать, продолжал:

– Стыдно смотреть на комсомольцев Руночкина, Позднякову, Полужан, Ковалева. И это без пяти минут инженеры, советские специалисты. Вот каких беззубых, политически беспомощных людей воспитал товарищ Янсон. Вот почему они так легко становятся игрушкой в руках классового врага. Вот в чем мы обвиняем Янсона. Вы, Янсон, создали почву, благодатную для Панкратовых... Даже здесь вы пытаетесь его выгородить. И это настораживает.

5

Юра требовал, чтобы Лена сохраняла их отношения в тайне: он любит ее, она любит его – больше ничего им не нужно. Именно поэтому он избегает ее родителей, ее дома, ее знакомых. Лена уступала, боясь задеть его самолюбие.

Отец не разрешал ему приводить в дом девушек, но дочь народного комиссара – шутка сказать! Такой у Юрия не было. Старики относились к Лене сдержанно: ходит к Юрию девушка, и ладно, дело молодое, сойдутся характерами – поженятся, не сойдутся – разойдутся. В этом смысле они держались на уровне века. А если поженятся, то должна будет почитать свекра и свекровь: хоть и наркомовская дочь, а пусть спасибо скажет, на таких, кто до свадьбы ложится в постель, не больно-то женятся.

Но Лена эту сдержанность расценивала как проявление достоинства. Родители Юры тоже казались ей необыкновенными. Отец – красивый, представительный мастер, мать – богомольная старуха, патриархальный уклад жизни – совсем другой мир, народный, простой, настоящий.

Иногда они обсуждали письма Владимира с Беломорканала, письма заключенного уголовника, с «дорогим папашей», «дорогой мамашей», «дорогим родным братом Юрием», со слезливой тюремной поэзией о загубленной мальчишеской доле, о мечте «пташкой легкой полететь». Юра морщился, видно, стесняясь Лены, а ее умиляли хмурое внимание отца, грустная озабоченность матери, стойкость, с какой Юра переносил эту сложность своей биографии.

Ей нравилось все: их непритязательная пища, то, как отец оттирает от мела руки, стряхивает с пиджака нитки, садится за стол со степенностью рабочего человека, для которого обед в кругу семьи – награда за тяжелый труд, нравилось, что именно ему мать кладет первый кусок – он кормилец, второй кусок – Юре, он мужчина, работник, третий – Лене, она гостья, а уж что останется – ей, матери, она при кухне, всегда будет сыта. Семья, спаянная, дружная, не похожая на ее семью, где каждый жил своей жизнью и где неделями не видели друг друга.

Иногда она ходила с Юрой в «Метрополь» послушать Скоморовского, в «Гранд-отель» – Цфасмана. Лена отстаивала свое право тратить деньги наравне с ним, она работает, получает зарплату, не принимать ее доли не по-товарищески. Юра снисходительно согласился. Ему льстило, что такая красавица тратится на него, льстила предупредительность официантов. За соседними столиками сидели красивые женщины и хорошо одетые мужчины, играл джаз, в «Метрополе» тушили свет, разноцветные прожекторы освещали в середине зала фонтан, вокруг которого танцевали. Юра улыбался Лене, сжимал ее руку, ему нравилось, что все обращают на них внимание.

Она уходила от него поздно ночью, разреши он, не уходила бы совсем. Ворота запирались на ночь, она звонила, выходил заспанный дворник, каждый раз подозрительно оглядывал ее, она совала ему рубль и выбегала на улицу. Каблучки ее гулко постукивали по тротуару ночного Арбата. Дома опять отметят ее поздний приход, обо всем догадываются, но ни о чем не спрашивают. Отец не любит Юру, говорит о нем насмешливо, даже презрительно. В конце концов, это его личное дело. Она привязана к семье, но, если понадобится, уйдет из дома не задумываясь.

В начале декабря Юру вызвали в Наркомюст. В отделе кадров, в большой комнате со многими столами, за которыми, однако, никто не сидел, его приняла средних лет женщина, рыжеватая, узкогрудая, с мелкими подвижными чертами лица. Она назвалась Мальковой, показала Юре на стул против своего стола.

– Кончаєте институт, товарищ Шарок, предстоит распределение, хотелось бы поближе познакомиться. Расскажите о себе.

Чтобы его не взяли в органы суда и прокуратуры, Юре следовало предстать перед Мальковой в неблагоприятном свете. Но действовали инерция самосохранения, годами выработанное правило выглядеть безупречным, ни в чем не запятанным, скрывать все, что может скомпрометировать. Юра рассказал о себе так, как рассказывал всегда: сын рабочего швейной фабрики, сам в прошлом токарь, комсомолец, взысканий не имеет. Есть и сложность – брат судим за воровство. Упоминание об этой сложности, как ему казалось, придало только искренность его рассказу.

Малькова внимательно слушала, курила, потом, потушив окурок о дно пепельницы, спросила:

- Как же вы, комсомолец, упустили брата?
- Когда его посадили, мне было шестнадцать лет.
- В революцию шестнадцатилетние командовали полками.

Малькова сказала это так, будто сама командовала полком в шестнадцать лет. Может, и командовала?! Держится как солдат, худющая, в кожаной куртке, с папиросой в зубах... Ну и что же! Все, что ли, должны командовать? Полков не хватит! И от этой рыжей воблы зависит, пошлют ли его на завод или загонят куда-нибудь к черту на кулички. В институте поговаривают, что весь выпуск распределяют в Западную и Восточную Сибирь.

Юра улыбнулся.

- Брат намного старше меня, как я мог на него влиять?

Малькова просмотрела бумаги на столе, достала нужную.

- Главхимпром затребовал вас на хозяйственно-юридическую работу. Чем это вызвано?
- До института я работал на химическом заводе, им нужен юрист. Связи с заводом я не терял, вот они и запросили.

Малькова нахмурилась.

– Все хотят остаться в Москве. А кто будет работать на периферии? В органах суда и прокуратуры?

Медленно, обдумывая каждое слово, Юра сказал:

- Для работы в органах суда и прокуратуры нужно доверие, нужна безупречная репутация. Когда брат – заключенный, этого доверия может не быть.

– Для работы в органах суда и прокуратуры надо быть прежде всего настоящим советским человеком, – наставительно произнесла Малькова. – Разве история с братом этому мешает?

- Но вы сами спросили: почему я упустил брата? Кроме того, я думаю, что и в промышленности нужны грамотные юристы.

Вставая, Малькова сказала:

- Я доложу ваше дело начальнику главка, а потом комиссия по распределению все решит.

Юра тоже встал.

- Я готов работать там, куда меня пошлют.
- Еще бы, – усмехнулась Малькова, – вы получали стипендию, ее надо отработать.
- Безусловно, я хочу остаться в Москве, – внушительно сказал Шарок, – здесь мои отец и мать, люди пожилые, больные, а я, по существу, единственный сын. Но это, – он показал на бумагу, лежащую на столе, – инициатива завода. Им нужен юрист, знающий химическое производство.

– У всех, кто хочет остаться в Москве, находятся веские доводы, – сказала Малькова, – и у всех вот такие солидные запросы. – Она помолчала, потом неожиданно добавила: – А вот партийная организация института рекомендует вас на другую работу. Между прочим, тоже в Москве.

- Мне об этом ничего не известно... А где именно?

Она уклончиво ответила:

- Есть вакансии... В прокуратуре, например. Но вы ведь предпочитаете завод?

– Да, я предпочитаю завод. Там я работал, вырос, оттуда меня послали учиться. Заводу я обязан очень многим.

Достоинство, с которым Юра это произнес, смягчило Малькову.

– Мы учтем и ваше желание, и запрос Главхимпрома. В общем, комиссия вынесет свое решение.

От такой бабы зависит его судьба! Сама небось только явилась из какого-нибудь Орехова-Зуева, а его, коренного москвича, готова заслать, куда Макар телят не гонял. Правильно говорит отец: «Понаехала в Москву деревня, куда, спрашивается, городским деваться?» Еще подначивает: вас рекомендуют для работы в Москве, в прокуратуре. Врет, наверно... А может, и не врет... У него жилплощадь в Москве, а это они учитывают...

Даже если его действительно рекомендовали, то это еще не значит, что его возьмут. Спросят: почему брат – уголовник? В настоящей рабочей, пролетарской семье не должно быть уголовников! Значит, семья не та, с червоточинкой семья-то. Разве нет других, проверенных, своих?!

Созданный его мальчишеским воображением романтический образ независимого адвоката потускнел со временем. Практика в судах показала обратную сторону медали. Он видел знаменитых адвокатов не только в их блистательных выступлениях, но и в суетне, грызне, погоне за гонораром, видел, как заискивают они перед секретаршами в суде, как за пятерку вдалбливают в юридических консультациях советы бестолковым старухам, знал цену их роскошным домашним кабинетам, после ухода клиентов превращаемым в столовые и спальни. И все же только эта жизнь его привлекала.

Но странное дело! Мысль, что в инстанциях откажут от него, задевала: им опять пренебрегут. Своим уготованы высокие должности, а он, послушный исполнитель, будет выполнять черную работу. В лучшем случае ему бросят подачку, отпустят на завод, в юрисконсулы, как презрительно выразился Будягин.

О вызове в наркомат Шарок никому не рассказал. Но от Лены не ускользнула его обеспокоенность.

Они сидели в театре, сумели наконец попасть на «Негра».

– Чем ты озабочен?

Она смотрела на него своим глубоким, любящим взглядом.

Он улыбнулся, скосил глаза на соседей: не мешай.

Дома, лежа на его руке, она снова спросила, что его тревожит. Он ответил, что ничего особенного, просто осложняется отзыв его на завод.

– Если хочешь, я поговорю с папой, – предложила Лена.

– Иван Григорьевич сделал все, что мог.

Она не настаивала, понимала, что отец не сделает больше того, что сделал.

– Вчера к нам приходил Саша, жалко его, – сказала Лена.

– А что такое?

– Ты разве не знаешь? Его исключили из комсомола и института.

Он приподнялся на локте.

– Первый раз слышу.

– Ты не видел его?

– Давно не видел.

Юра говорил неправду, видел Сашу совсем недавно, но тот ничего ему не сказал. И Юра не хотел говорить этого Лене.

– Из-за этой истории, из-за преподавателя по учету.

– Да. И потом из-за стенгазеты.

– А что он написал в стенгазете?

– Стихи какие-то.

– Разве он пишет стихи?

– Написал или поместил чьи-то. Он торопился, толком ничего не рассказал и ушел. Жалко его очень.

Саша Панкратов исключен! Так верил человек, а его потрянули! Активист, твердокаменный, негибачный – теперь и он загремел. Даже Будягин не помог. Дядя, Рязанов, знаменитый человек! Страшно. Уж если Сашку...

Кто же поможет ему, Шароку, если с ним что-нибудь случится? Отец – портной? Брат – уголовник? Он не лезет во все дырки, как Сашка, и все же... Зря он отказался от прокуратуры, там бы его никто не тронул, там бы он сам тронул кого угодно, уж у него бы никто не вывернулся...

На другой день Юра в воротах столкнулся с Сашей.

– Привет!

– Здравствуй!

– Я слышал, у тебя неприятности в институте?

– От кого слышал?

– Видел Лену.

– Все уладилось, – хмуро ответил Саша.

– Да? Ну, прекрасно. – Шарок не скрывал усмешки. – Быстро тебе удалось восстановиться.

– Удалось. Бывай!

6

«Все уладилось». Так же, как Юре, Саша отвечал всем, не хотел, чтобы хоть какие-то слухи дошли до мамы.

Приказ Глинской вывесили на следующий день после заседания бюро. Саша, как «организатор антипартийных выступлений», исключался из института, Руночкину, Полужан и Поздняковой объявляли выговоры, Ковалеву ставилось на вид.

Закрутилась машина, искали документы, готовили справки. Лозгачев, уже назначенный вместо Янсона деканом, быстро и даже предупредительно оформил Сашину зачетную книжку, его гладкое лицо как бы говорило: лично я против тебя ничего не имею, так сложились обстоятельства, но, если тебя восстановят, буду искренне рад.

В группе Саша попрощался со всеми, только Ковалеву не подал руки.

– С гадами не знаюсь.

Руночкин подтвердил, что Ковалев действительно гад и все вообще гады. Он никого не боялся, маленький кособокий Руночкин.

Прозвенел звонок. Коридор опустел. До Саши уже никому не было дела. Документы получены, остается поставить печать и уйти.

Криворучко еще работал заместителем директора по хозяйственной части. Прикладывая печать, он вполголоса сказал:

– Стандартные справки на декабрь отправлены в карточное бюро.

– Спасибо, – ответил Саша. Справки отправляются позже, просто Криворучко хочет выдать ему продуктовые карточки. А мог бы и не выдать.

Теперь до конца декабря мама ни о чем не догадается. А к тому времени его восстановят.

Из одного учреждения в другое, томительное ожидание приема, тягостные объяснения, недоверчивые лица, неискренние обещания разобратся. Разбираться никто не хотел – отменить исключение значило взять на себя ответственность, кому это надо!

В райкоме его делом занималась некая Зайцева, миловидная молодая женщина. Саша знал, что она хорошо играет в баскетбол, хотя и невысока ростом. Она выслушала Сашу, задала несколько вопросов, показавшихся Саше малозначительными, они касались почему-то Криворучко, посоветовала раздобыть характеристику с завода, на котором он раньше работал, предупредила, что дело будет разбираться на заседании бюро райкома партии и комсомола.

Подъезжая к заводу, Саша вспомнил ранние вставания, свежесть утренней улицы, поток людей, вливающийся через проходную, холодную пустоту утреннего цеха. Техникой он никогда не увлекался, но работать на заводе хотел, его привлекало само слово «пролетарий», принадлежность к великому революционному классу. Начало жизни, поэтичное и незабываемое.

В первый же день его послали на срочную погрузку вагонов. Он мог отказаться, Юрка Шарок, например, отказался, и его отправили в механический, учеником к фрезеровщику. А Саша пошел, о нем забыли, и он не напоминал: кому-то надо грузить вагоны. Жизнь казалась тогда нескончаемой, все впереди, все еще придет. В брезентовой куртке и брезентовых рукавицах, под дождем и снегом, в жару и мороз он разгружал и нагружал вагоны на открытой площадке товарного двора, делал то, что нужно стране. Презирал чистенького Юрку, устроившегося в теплом светлом цехе.

Всей бригадой они ввалились в столовую, их сторонились – их куртки и телогрейки были испачканы краской, мелом, алебастром, углем. Они шумели, матерились. Саша помнил бывшего комдива Морозова, тихого человека, вышедшего из партии по несогласию с нэпом и потом спившегося. Помнил Аверкиева, их бригадира, тоже спившегося – от него ушла жена, – и еще нескольких таких, сошедших с круга, людей. Они не гнались за деньгами, заработал на

четвертинку – и ладно, от сдельной работы отлынивали, препирались с нарядчиком и десятником, выторговывали работу полегче, предпочитали повременку, а еще лучше урок, определенное задание, выполнив которое можно уйти. Тогда они работали быстро, выкладывались, но только для того, чтобы пораньше смыться. Саша не считал их настоящими рабочими, но привлекало в них что-то трогательное и человеческое – люди с неустроенной судьбой. Хитря при получении наряда, они никогда не ловчили между собой, ничего не перекладывали на товарища. И хотя Саша не участвовал в выпивках, не рассказывал казарменных анекдотов, не состязался в похабных прибаутках, они относились к нему хорошо.

Эту сборную, сбродную, бросовую бригаду посылали обычно на случайные работы, но иногда и на главную – погрузку в вагоны готовой продукции, барабанов с краской. Случалось, долго не подавали порожняка, барабаны с краской высокими штабелями скапливались на товарном дворе, потом вдруг приходили вагоны, состав за составом, и тогда на погрузку направлялись все бригады, в том числе и аверкиевская, в которой работал Саша.

Барабан с краской весил восемьдесят килограммов. По сходням его вкатывали в вагоны и ставили: первый ряд, на него второй, на второй третий. Сходни стояли круто, надо было с разбегу вкатить по ним барабан, в вагоне развернуть и поставить впритирку с другими, чтобы разместилось положенное количество. Восемь часов, не разгибая спины, катать цилиндры по восемьдесят килограммов каждый, взбираться с ними по крутым сходням, ставить на попа – тяжелая работа. И надо торопиться, вслед за тобой бежит товарищ, он не может дожидаться на крутых сходнях, тоже берет их с разбегу, и если ты лишнюю секунду ковыряешься со своим барабаном, то задерживаешь всю цепочку, нарушаешь ритм. Саше первое время не удавалось сразу ставить барабан в точно положенное место. Потом ему показали: надо взяться обеими руками за основание цилиндра, рывком поднять его, развернуть на ребре и поставить. И как только Саше это показали, он уже никого не задерживал.

Обычно на краске работали две главные бригады: первая – татары, приехавшие на заработки из-под Ульяновска, вторая – русские, профессиональные грузчики, стремившиеся заработать: погрузка краски оплачивалась хорошо.

Как-то на наряде десятник Малов сказал:

– Аверкиев, выдели одного в первую бригаду, у них человек заболел.

– Сходи, – обратился Аверкиев к татарину Гайнуллину.

– Не пойду, – ответил Гайнуллин.

– Лившиц!

Лившиц, здоровенный низколобый одесский еврей, отшутился:

– Мне к ним нельзя, они свинину не едят.

И тогда Малов сказал:

– Мне ваши дебаты слушать некогда. Не выделяте, сам назначу.

Малов был решительный человек, демобилизованный комвзвода, похожий на борца, сам бывший грузчик, сумевший подчинить себе даже отпетую аверкиевскую бригаду.

– Назначай, – ответил Аверкиев.

Взгляд Малова остановился на Саше.

– Панкратов, пойдешь в первую!

Малов недолюбливал Сашу. Может быть, ему не нравились образованные грузчики. Саша здесь считался самым образованным – кончил девятилетку. И сейчас Малов смотрел на Сашу полувопросительно-полупрезрительно, ожидая, что тот тоже откажется. Но Саша сказал:

– Хорошо, я пойду.

– Лезешь во все дырки, – недовольно заметил Аверкиев.

Татары не катали барабаны, а носили их на спине. Бегом-бегом по мосткам, потом по сходням, в вагон и сразу ставили на место. Так быстрее, но это совсем другая, невыносимая работа: бежать с круглым восьмидесятикилограммовым цилиндром на спине по шатким мост-

кам, по крутым сходням, сбрасывать его так, чтобы он не отдал ноги и стал точно на место, бежать весь день именно за тем человеком, за которым ты начал смену. Кажется, что барабан скатится сейчас со спины, увлечет тебя за собой, ты рухнешь, но остановиться нельзя даже на секунду, слышишь за собой бег следующего, его тяжелое дыхание, запах пота, и, если остановишься, он наскочит на тебя. И ты тянешь изо всех сил, берешь трап с разбегу, вбегаешь в вагон, сваливаешь барабан и бежишь обратно, чтобы не отстать от опытных, сильных грузчиков, не дающих пощады никому, а тебе, чужаку, особенно.

Гудок на обед! Саша упал возле штабеля. Красные круги поплыли перед глазами, монотонный гул разламывал голову.

Саша то задремывал, то пробуждался. И когда пробуждался, думал только о той минуте, когда надо будет подняться, встать в затылок здоровому рыжему татарину, за которым ходил утром, и снова с барабаном на спине бежать по шаткому трапу. Знал, что не сумеет отработать еще четыре часа, упадет, растянется на мостках.

Он мог пойти в контору, заявить, что его прислали сюда получить квалификацию, а не таскать на спине восьмидесятикилограммовые барабаны, его прислали по броне в цех, на производство. К чертовой матери! Добровольно вызвался на срочную работу, а его маринуют в грузчиках... Может, конечно, это сделать. Но он знал: как только раздастся гудок, он встанет в затылок рыжему татарину, подставит спину и понесет барабан в вагон.

Из столовой возвращались рабочие, значит, скоро конец перерыва. Усилиями воли Саша подтянулся, сел, задвигал руками, ногами, головой. Все болело, все казалось чужим.

Его окликнули, он поднял голову, перед ним стояли бригадир Аверкиев и грузчик Морозов, бывший комдив. Видно, выпили за обедом, одутловатое лицо Аверкиева стало совсем красным, голубые глаза Морозова казались еще более голубыми, светлыми и мечтательными.

– Жуй! – Аверкиев бросил ему на колени кусок хлеба и шматок корейки.

– Спасибо.

– Барабан на всю спину клади, – сказал Аверкиев, – на весь хребет, понял?! А ну, киньте!

Он выгнул спину, забросил руки назад, Морозов и Саша положили ему на спину барабан. Барабан ровно лежал на всей спине.

– А ты вот как!

Аверкиев повел корпусом, барабан передвинулся на плечи, он перехватил его спереди руками.

– На плечах носишь, неправильно, на хребте таскай. Пробуй!

Саша встал, выгнул спину. Аверкиев и Морозов положили на него барабан.

– Куда плечи опускаешь?! – закричал Аверкиев.

Саша приподнял плечи, барабан коснулся спины всеми точками, распределился равномерно.

– Так и таскай! Навязался и таскай!

Теперь Саша чувствовал себя устойчивее, барабан не сползал со спины. Но его тяжесть по-прежнему давила, ноги подкашивались. Когда бежал обратно, спина уже не разгибалась. Как он выдержал вторые полсмены, он не знал, как добрался домой, не помнил, свалился на кровать и проспал до утра.

А утром Малов сказал:

– Поработай еще пару дней в первой, потом переведу.

Он проработал на краске две недели, научился таскать барабаны. Татары привыкли к нему, он привык к ним, даже писал им заявления в сельсовет относительно налога.

В старую бригаду он тоже не вернулся, его послали в гараж, грузчиком на грузовую машину.

– Будешь учиться на шофера, – сказал Малов. И было непонятно, хочет он обрадовать Сашу или хочет избавиться от него.

Саша работал в гараже, выучился на шофера, ездил на машине. Но сейчас, подъезжая к заводу, почему-то вспоминал именно, как работал грузчиком. Это были первые и самые запомнившиеся месяцы его заводской жизни.

Кого он там встретит? Наверно, никого нет из старых ребят. А может, и есть, не так много прошло времени, всего четыре года.

Старую деревянную проходную снесли, на новом месте построили каменную, большую. И ворота поставили на новом месте, тоже каменные, широкие. Фасадом на площадь стояло новое здание заводоуправления. За высоким каменным забором высились новые корпуса. Площадь заасфальтировали, на ней появились магазины, ларьки, павильоны. Завод работал, рос, обстраивался. Это и есть то настоящее, чем живет страна, чем должен жить и он, несмотря ни на что!

Секретарем партийной организации оказался Малов. Не совсем приятная неожиданность! По-прежнему похожий на борца, лысоватый, уже не такой краснощекий, каким выглядел на товарном дворе, когда распорядился грузчиками, похудевший, усталый, желтоватый. За большим письменным столом он сидел так же, как когда-то сидел на подоконнике, подписывая рабочие карточки, боком как-то, с края стола. Он сразу узнал Сашу. И так, будто не было этих четырех лет и Саша по-прежнему работает на заводе, спросил:

– А, Панкратов... Что у тебя?

Саша изложил свое дело.

– Ладно, – сказал Малов, – я буду на бюро, скажу...

И этот уклоняется, не хочет давать характеристику...

Зайцева просила принести письменную характеристику.

– Бумажка ей нужна, – проворчал Малов, – ладно, напишу. Напомни, где ты работал, какие нагрузки нес.

Он записал перечисленные Сашей нагрузки, потом поднял глаза, насмешливо спросил:

– Влип наконец?

– Почему «наконец»?

– К тому шло. Ладно. Погуляй часок, сочини характеристику.

– Я бы хотел пройти на завод, повидать ребят...

Центральная часть завода осталась прежней, новые корпуса строились в стороне. Первый, второй, третий цеха, механический, котельная, вот и гараж... На яме черный директорский «форд», у верстака Сергей Васильевич, директорский шофер. Он тоже узнал Сашу.

– На завод вернулся?

– По делу пришел.

Сергей Васильевич носил черный кожаный костюм, пыжиковую шапку и фетровые валенки с галошами, плотный, важный, независимый, еще из дореволюционных шоферов, приближенное к директору лицо.

Удивительно, как многое забылось и вспомнилось только сейчас, когда он пришел сюда и снова увидел цеха, проезды, услышал звуки завода. Все тогда было просто и ясно – работай, получай зарплату, выполняй комсомольские поручения. Он не помнил случая, чтобы кому-нибудь шили политическое дело, здесь давали продукцию, строили завод. А может быть, и здесь теперь по-другому?! Интересно, какую характеристику даст ему Малов?

Характеристику Малов дал такую: «Дана Панкратову А. П. в том, что он работал на заводе с 1928 по 1930 год в качестве грузчика, затем шофера. К работе относился добросовестно, данные ему поручения выполнял. Участвовал в общественной работе в качестве секретаря ячейки ВЛКСМ транспортного цеха. Взысканий не имел».

– Буду на бюро, добавлю что надо, – пообещал Малов.

7

Возвратившись с завода, Саша увидел в дырочках почтового ящика синий конверт. Письмо от отца, его почерк. Никогда эти письма не приносили радости. Отец просил выслать технологические справочники. «Они лежат на нижней полке шкафа, ты, наверно, знаешь, где нижняя полка. Я бы не посмел обременять тебя такой просьбой, но больше мне просить некого. А ехать за ними в Москву... Мой приезд никому не доставит удовольствия».

Это был голос отца, так он всегда разговаривал. Когда мама спрашивала: «Будешь обедать?» – он отвечал: «Могу не обедать». – «Ты идешь на заседание?» – «Я иду танцевать...» Глуховатый, он недослышивал, думал, что говорят про него, ругался. Ругался, не получив яблока утром или стакан простокваши на ночь. Мать немела от страха, едва заслышав его шаги в коридоре, он возвращался с работы уже заранее недовольный домом, женой, сыном, готовый сделать замечание, выговор, учинить скандал.

Мама не боялась его, только когда ревновала. Сашино сердце изнывало от того, что творилось тогда в доме: от криков, хлопанья дверьми, от злого, кроличьего выражения маминого лица, ее плача.

Отец уже шесть лет не жил с ними. А она по-прежнему боялась его даже на расстоянии. И сейчас при виде письма у нее снова на лице появилось знакомое и тягостное выражение тревоги и страха.

– От папы?

– Просит прислать справочники.

С тем же испуганным лицом Софья Александровна взяла письмо, и выражение испуга не исчезло, пока она его не прочитала.

Сашу больше всего страшила мысль о том, что будет с мамой, когда она все узнает. И он вел себя так, чтобы она ничего не узнала. Уходил из дома, делая вид, что едет в институт. Декабрьскую стипендию заработал, разгружая вагоны на Киевской-Товарной. Когда некуда было деваться, шел к Нине Ивановой.

Она дала ему ключ от квартиры, и по утрам он там читал или занимался. Потом из школы приходила Варя, младшая сестра Нины, в темном пальто, в крошечных туфельках, платок она снимала по дороге, прямые черные волосы спускались на воротник. Она садилась на кровать, перекидывала ногу на ногу, вытягивала пухлые губы, сдувая челку со лба, и смотрела Саше в глаза тем взглядом, каким красивые девочки смущают мальчиков.

Стол под облупившейся клеенкой делил комнату на две половины: половину Нины с книгами и тетрадами, разбросанными на столе, со стоптанными домашними туфлями под кроватью и половину Вари с яркой косынкой на подушке, патефоном на подоконнике и бронзовым атлетом с лампочкой в вытянутой мускулистой руке.

– За что тебя из института выгнали?

– Восстановят.

– Я бы их всех самих исключила, у нас в школе тоже есть такие сволочи; только и смотрят, кого бы угробить. Вчера у нас было классное, Лякин говорит: «Иванова пишет шпаргалки на коленках». Я ноги вытянула и спрашиваю: «Где шпаргалка?»

Она вытянула ноги, показывая, как сделала это в классе.

– А Кузя, математик, покраснел как помидор: прекратите, Иванова! А я при чем? Ведь это Лякин. В прошлом году хулиганил, отнимал у девчонок портфели, а теперь в учкоме. Сам скатывает, а на других ябедничает. Терпеть не могу таких.

– Как же ты делаешь шпаргалки?

– Очень просто, – она похлопала по коленкам, обтянутым нитяными чулками, – напишу чернильным карандашом и скатываю.

– А без шпаргалки не можешь?

– Могу, но не хочу.

Она смотрела на него с вызовом, этакая козявка, сидит с открытыми коленками. Саше было смешно, но он старался быть серьезным, знал, сколько хлопот доставляет Варя сестре.

Девочки выросли без отца, потом умерла и мать. Саша помнил заседание бюро – они обсуждали, как помочь Нине воспитать сестру, выхлопотали пенсию, утвердили Нину платным вожатым. Потом окончили школу, разошлись, и вспомнил он о Варе, увидев ее уже в подворотне с такими же, как она, подростками.

– Ты комсомолка?

– А зачем?

– Лучше в подворотне стоять?

– Мне нравится.

– Дома не ночуешь.

– Ха-ха! Один раз заночевала у подруги на даче, боялась на станцию идти. Нинка бы тоже ночью не пошла. Она еще больше трусиха, чем я, во сто раз. Выходила бы за своего Макса, ничего не умеет, а Макс ничего и не надо, будут ходить в столовую.

– Тебе не рано давать такие советы?

– Пусть не лезет в мои дела. Шумит, а толку чуть.

– Кем ты хочешь быть?

Вместо ответа она запела высоким детским голоском:

Цветок душистых прерий,
Твой смех нежней свирели,
Твои глаза как небо голубое
Родных степей отважного ковбоя...

В коридоре раздался звонок.

– Нинка пришла, – не двигаясь с места, объявила Варя, – опять ключи забыла.

– Откуда ты знаешь, что она?

– Я знаю, как каждый жилец звонит.

Вошла Нина, увидела Варю на кровати в позе, которую сочла неприличной, увидела ее открытые колени, и началось:

– На уме мальчишки, лак для ногтей, губная помада морковного цвета, разбирается. Часами сидит перед зеркалом и загибает ресницы кухонным ножом.

– Ножом? – удивился Саша.

– Или висит на телефоне, только и слышишь: крепжоржет, вельвет, красное маркизетовое, голубое шелковое... Я пять лет носила одну кофточку, каждый день ее стирала и до сих пор не знаю, из какого она материала. А сестрица моя три дня бегала по магазинам, искала пуговицы к платью. Галош не признает, валенки презирает. Украла у меня туфли, стоптала на танцах, потом подбросила в ванную. Сегодня туфли, завтра стащит деньги, а так как денег у меня нет, пойдет воровать.

– Не пугай! – сказал Саша. – Не пугай себя и не пугай ее.

Но Варя не пугалась. Притворно зевнула, сделала скучающие глаза – слышала все это, слышала сто раз.

– Меня поражает ее жестокость. Смеется над Максимом. Разве это ее дело? Низко, бес тактно.

– У Макса невеселый вид, – дипломатично заметил Саша. У Нины потемнели глаза.

– Я ценю Макса, прекрасный, чистый парень. Но о чем я могу думать? Я вот это должна еще поставить на ноги.

– Пожалуйста, не сваливай на меня, – сказала Варя.

– Поручили выпустить стенгазету, – продолжала Нина. – Она пошла в соседний класс и списала там номер от слова до слова, даже фамилии поленилась изменить. К чему она придет, что ее ждет?

Варя нащупала ногой туфли, встала.

Цветок душистых прерий,
Твой смех нежней свирели...

В райком Саша шел спокойно. Вот инстанция, которая не побоится все решить. Вести заседание будет первый секретарь Столпер.

Саша долго сидел в коридоре, дожидаясь, пока его вызовут. За дверью слышались голоса, обрывки выступлений, но всех перебивал, обрывал, останавливал высокий, резкий голос. Испуганные люди выскакивали из кабинета, бежали к шкафам, хватали папки, высокий, раздраженный голос неся им вдогонку. Саше нравилось, что Столпер гоняет этих чиновников. Так он будет гонять и Баулина, и всех, кто приклеил ему, Саше, ярлык врага.

Дверь приоткрылась.

– Панкратов!

Народу собралось много, люди сидели вдоль стен и за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Столпер, худой человек со злыми, усталыми глазами, хмуро посмотрел на Сашу, кивнул Зайцевой:

– Докладывайте! И покороче.

Зайцева голосом аккуратной ученицы огласила материалы дела. Когда она читала эпиграммы, кто-то засмеялся. Эпиграммы звучали глупо. Потом Зайцева сказала, что эти факты должны рассматриваться в связи с главным.

И тут Саша впервые услышал, что Криворучко – бывший участник оппозиции, какой именно, Саша не понял. Зайцева упомянула Одиннадцатый съезд партии, «рабочую оппозицию», затем коллективное письмо в ЦК партии, подписанное и Криворучко, что это за письмо, Зайцева не сказала. Потом она сообщила, что в свое время Криворучко исключали из партии за то, что не порвал связи. Какие это связи, с кем, когда, тоже не сказала, только добавила, что в партии его восстановили, но объявили выговор. Потом еще один выговор он получил за засоренность железной дороги социально чуждыми и классово враждебными элементами. Что за дорога и кем был на ней Криворучко, Зайцева тоже не сказала. И вот опять исключен, на этот раз за срыв строительства. Хотя список исключений и выговоров был в личном деле Криворучко, Зайцева говорила так, будто это она его вывела на чистую воду, сама потрясенная тем, что ей удалось обнаружить человека, замешанного в преступлениях, о которых она знала из учебников.

Слушая Зайцеву, Саша понимал, что дело Криворучко вовсе не так просто. Над Криворучко тяготеет прошлое. Саша не мог понять только, какое отношение это имеет к нему лично.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.